

Надежда СИНИЧЕНКО



ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЧЕТВЕРГ

Повесть

На летучку я всегда опаздываю, но сегодня опаздываю так сильно, что лучше совсем не ходить. Интересно, выиграет Газим? Уже второй год, как новый редактор завел утренние летучки, и Газим от скуки устроил тотализатор – заключает пари с любым, кто сидит рядом: опоздаю я или не приду. Тоже – нашел развлечение...

Поднимаюсь на второй этаж, тороплюсь, спотыкаюсь на ступеньках; в коридорах редакции и на лестнице всегда сумеречно: при перестройке здания забыли о светильниках, вот и шарахаемся теперь в темноте. С трудом попадаю ключом в скважину, открываю дверь, вхожу, говорю:

– Здрасьте...

Я здороваюсь с тем Некто, что бывает в кабинете по ночам и исчезает с моим появлением. Что Некто бывает – сомнений нет, я нахожу утром убедительные тому подтверждения: то фотографии на стенах сдвинуты, висят криво, то листы бумаги разбросаны по полу. Что ж получается? Не перевелись, значит, и нынче желющие порываться в чужом столе? Ну, это уж явно стукачи-любители, поскольку для стукачей-профессионалов время вышло, и не вчера, а годков десять назад. Однако живучее племя оказалось... И не пойму – неловок этот Некто или у него расчет какой, может, по-дружески знак подает: не скучай, мол, я у тебя бываю.

Конечно, хочется узнать, как Некто выглядит. Не исключено, впрочем, что это

сквозняк фотографии раскачивает. Ведь потолки в нашем особняке голубеют высоко-высоко, вполне возможно, что образуются турбулентные потоки от брошенных в небесную бездну потолков. Ну, а если нечистая сила по дому гуляет? Тоже ведь своя история имеется: когда-то здесь было веселое заведение с красными фонарями – для купеческих развлечений; потом крупный магазин – это уже при нэпе, позже – педучилище, считай, большую часть века. А теперь раскроили особнячок еще раз, теперь уже на отдельные кабинеты, и рассадили нас – сотрудников городской газеты. И вдруг кто-то из бывших обитателей отирается здесь в бестелесном облике в свободное от дневных забот время? Чем мы хуже английских замков с их привидениями?..

На уборщицу тетю Марусю грешить нечего, она работает в нескольких организациях, до редакции у нее доходят руки после трех часов дня; она обходит в это время по очереди все кабинеты, извиняется и тихо, как мышка, протирает полы невиданной ярко-красной щеткой.

– Зятьизгерманиипривез, – объясняет она скороговоркой, если замечает любопытный взгляд.

Я знаю тетю Марусю с этой щеткой лет шесть и не обнаруживаю никаких перемен в облике щетки, видно, сносу ей не будет: слишком велик запас прочности или очень уж подошли ей полы в нашем особняке – хорошей старинной работы.

Раз в месяц, в каждую последнюю пят-

ницу, тетя Маруся ходит по кабинетам с пылесосом – чистит ковровые дорожки. И тогда у нас пауза: кто квас бежит пить, кто в шахматы играет, кто курит в заброшенном заднем дворике.

Так что нет, тетя Маруся никак не может быть этим самым Некто – вся ее деятельность проходит у нас на глазах.

...Я вхожу, здороваюсь, поправляю сдвинутые акварели на стене – сегодня именно их коснулся неосторожный Некто, усаживаюсь за стол и включаю компьютер.

В четверг всегда трудно начать работу. Во-первых, потому, что вчера была среда, творческий день, когда не обязательно являться в редакцию, и значит, все мы сегодня находимся в несколько расслабленном состоянии духа, а кое-кто – и тела. Во-вторых, потому, что в четверг всегда бывает много посетителей – все редакционные завсегдаята, стокосовавшись по нашим стенам за долгую неприсутственную среду, обязательно зайдут попроведать. А поскольку дневной охраны у нас нет (по современным меркам – редкое явление), люди заглядывают еще и потому, что вход свободный. И наконец, в-третьих, надо с самого утра и до вечера сдавать и сдавать материалы. В четверг делаются сразу три номера: «добивается» на пятницу, засылается в типографию субботний и макетируется воскресная «толстушка». Конечно, можно побродить по Интернету и найти там любой текст на все случаи жизни, но шеф, наш почтенный новый редактор, требует, чтобы субботние и воскресные номера наполнялись исключительно местным эксклюзивом. У него, видите ли, региональные патриотические замашки, а нам – хоть на ушах стой...

Тяжелый день – четверг, думаю я. достаю косметичку, подкрашиваю губы и сразу вспоминаю о театре. Как они там? Поди, вчера насладились рецензией? Значит, скоро начнется... Новый главреж – вроде нашего нового редактора, столько амбиций!.. Да к тому же – гремучая смесь былых и новейших приемчиков в борьбе с прессой: после каждой рецензии бежит в две инстанции – в департамент по культуре и в суд с иском о моральном ущербе... Наш дорогой шеф все же попроще и бегаёт за советом и одобрением только в департамент...

А что Борис Викентьев, как он переживает сие? Как звезде сцены, и ветерану, и заслуженному уже лет двадцать, ему и бегать никуда не надо, достаточно поднять трубку и кое-кому позвонить...

Да, начнется суета. Споры, доказывание очевидного... Придется почему-то оп-

равдываться, хоть и не виновата. Обычные дела...

Воспоминания о театре и рецензии во вчерашнем номере бередают душу. Хочется пожалеть себя хоть немного. А зря. Зря. Отвлекаться не стоит, не тот день. В четверг – одно только дело, ничего кроме дела.

Я открываю папку со статьями внештатников. Все интересное ушло из нее еще в начале недели, осталась тягомотина, нудятина, скучнотища, из которой, хоть разбейся, ничего доброго не получится. «Срочно, точно, интересно!» – гласит лозунг в кабинете ответственного секретаря Паши, – говорят, этот лозунг перебрался сюда еще из минувшего тысячелетия, и если он висит – значит, кому-то нужен. Эх!.. Счастливо живет тот отдел, где внештатники соблюдают эти требования. Наш отдел благоденствует только первые дни недели, на трудный четверг остается что похуже.

С тоской просматриваю залежавшиеся корреспонденции. Такой большой город! Неужели ничего в нем не происходит?

«Интересно прошел литературный вечер в ДК строителей. В гости к строителям пришли в этот вечер городские литераторы...»

Когда это было? Ну, точно, в минувшем тысячелетии... Помнится, я там тоже была. Кажется, это была встреча с лауреатами городской литературной премии, так сказать, творческий отчет...

Конечно, вместе с автором корреспонденции (точнее, за него) можно порассуждать о том, как Время, это своеобразное ОТК литературы, устраивает ей иногда перетряску, задвигая в дальний угол то, что еще вчера было на слуху, получало правительственные награды, преподавалось в школах. Неистовые революционеры-писатели сменились мастерами производственной прозы, а тех смыла волна детективщиков... Ведь это факт, произошедший за пару-тройку десятилетий у нас на глазах. Кто из читателей, кроме историков-литературоведов, возьмет сейчас в руки роман с дивным названием «Цемент», или там – «Бруски», чтобы скоротать с ним вечерок? Кто из нормальных людей возбудится революционной эротикой четвертого сна Веры Павловны? А как гремели, однако! Сколько абитуриентов заваливалось на сочинении, анализируя эти, казалось бы, бессмертные произведения! И вот отгремели... А тишайшее «Где ты, Мисью?» и сейчас читаемо, и сейчас волнует...

Порассуждать можно, но кто я такая, чтобы тасовать-перетасовывать стили, направления, вешать ярлыки, выносить приговоры?... Хватит с меня моих вынужденных театральные оценок, ой, хватит!

Так все-таки – что там было, на этом итоговом литературном вечере? Ну, награждали, хвалили... особенно поэтов... за мужество... дескать, продолжают писать стихи, а время-то не поэтическое... Нет, за это не зацепиться, надо бы вспомнить что-нибудь... такое... конкретное... характерное... душещипательное... какую-нибудь особенную деталь...

Но весь мой напруг кончается тем, что вспоминается редакционный художник Гена Хохлов, с его вечными странностями. Он читал на том вечере Зоценко – с чего бы? И не лауреат, и не отчитывался за свои творческие достижения... Наверное, кто-то из организаторов попросил его почитать... Ну да, ну да, я еще подумала тогда: до чего же Гена в образе! Желто-землистое лицо, поношенный плащ, который он никогда не снимает в редакции, не снял и перед выходом на сцену, – все как нельзя лучше подходило к рассказам, которые он читал, – и читал блестяще. А в редакции Гена молчит, рисует картинки в воскресный номер, а для нас – персональные шаржи: какими мы будем в старости... Еще Гена жует весь день черный хлеб: отламывает его от буханки, лежащей в столе, и запивает пивом из банки.

С нами он беседует раз в году, по особому настроению. И обычно говорит о чем-то очень трогательно: о дочке, которая только-только начинает ходить, или о жене, которую Гена любит и считает по-настоящему талантливой. Она учится в Москве, в Строгановском, тоскует по дочке, порывается бросить учебу и вернуться домой. За девочкой смотрит теща, пилит Гену за все, чем он не похож на других, а значит, плох, по мнению тещи. Но даже о ней Гена находит хорошие слова...

Короче, ушла я не туда, не в ту степь с этими воспоминаниями. Опять листаю отошавшую за последние дни папку. Неужели так-таки ничего и не происходит новенького? Ага, вот, кажется, что-то брезжит вддали: *«В воскресенье на пляже, принадлежащем фирме «Неоформ», состоялся конкурс рассказчиков анекдотов по семи номинациям...»* О Господи, по семи!.. Не по трем, не по пяти!.. И что – это давать? Это новость?... Разумеется... Люди отдохали? Отдыхали! Творчески? Еще как! Земляки? Земляки! А что конкурс анекдотов, так я не удивлюсь, если на следующее воскресенье организуют какой-

нибудь корпоративный конкурс идиотов... И – тоже давать в номер? Почему бы и нет? – спросит в таком случае шеф. И в чем-то будет даже прав, как ни прискорбно с этим соглашаться. Смотрят же люди по главным телеканалам страны и «Окна», и «Дома», и Ксюш, и Фёкл, и мальчиков, больше похожих на девочек и демонстрирующих именно это... Мы с Сергеем по вечерам чуть не деремся, переключая каналы: меня трясет от этого всероссийского эксклюзива, а он смеется:

– Да это ж просто прикольно...

Нет, в голову лезет решительно не то, что нужно, а время бежит, уже раздается топот по коридору – летучка у шефа закончилась, народ расходится по кабинетам.

В дверь заглядывает Газим, подмигивает, говорит:

– Я выиграл. Ого!

И скрывается.

Надо себя взбодрить, решаю я и отправляюсь общаться к Газиму в «пенал» – у него самая узкая и длинная комната. Сажусь там на подоконник. Стульев нет, чтобы посетители долго не задерживались и не мешали работать (не то что у меня: четыре стула для гостей, а теперь еще и кресло в углу). Говорю Газиму:

– Выигрыш пополам.

– Ты говорила – шоколад не употребляешь.

– Хоть бы играли на что-то путное! Диватез получите.

– А это – что? – пугается Газим.

– Болезнь у детей. И у тех, кто впадает в детство.

Газим обижается, запускает руки в свои седые кудри и сидит так целое мгновение. Но неподвижность – не его удел. Он вдруг вскакивает, как подброшенный снизу, бьет себя в цыплячью грудь, отчего кажется, что она звенит колокольчиком, и восклицает:

– О женщины! Ничего не оставляете для нашего удовольствия!

И без всякой связи с происходящим рассказывает, что жена вышла на пенсию, увлеклась рыбалкой, забросила дом, не варит обеды. Мне не хочется напоминать ему, что его красавица-казачка Тамара Степановна, с которой он прожил лет тридцать, и раньше не отличалась особой хозяйственностью, с чего бы сейчас ей заниматься кухней? Эта дама, весьма внушительных объемов и явно не «кавказской национальности», и прежде не раз замечалась с удочкой в руках у парапета или даже на дамбе, а то и в лодке...

– Слушайте, а отправьте-ка Тамару

Степановну со Жбановым в рейс... Хотите, я составлю протекцию? Они там таких карасей наловят! Сетями...

Газим негодуяще глядит на меня, потом на мгновение увлекается этой мыслью, но тут же отбрасывает ее как невозможную. Но этот миг сомнения примиряет его со мной, впрочем, он вообще не умеет долго сердиться на женщин, даже на тех, кто пренебрегает ингушскими традициями или не ведает о них вообще. И сейчас он прощает все мои дурацкие шуточки... между прочим, еще и потому, что благоволит к маленьким женщинам – он называет их «карманными женами», и я принадлежу именно к такой категории. Зная эту слабость Газима, трудно объяснить его выбор жены в молодости... А может, наоборот, тем самым легко подтверждается горькая для меня истина, что вкусы у людей с годами меняются... и не только у стареющих мужчин, но и у молодых замужних женщин. Да-да, вкусы меняются, порой кардинально, ведь это так естественно... Эта мысль успокаивает как раз меня, а не Газима, поскольку он о ней не догадывается, а я оставляю ее при себе: мне она сейчас важнее, чем Газиму. Как все-таки внезапно, из ничего, возникают параллели, и аргументы, и воспоминания, и оправдания – особенно когда их ищешь...

Но Газим не дает мне долго пребывать в окружении всех этих вызревающих во мне парадигм (любимое словечко нашего шефа!), а говорит просто и о другом, но все равно весьма высоко, как высоко его Кавказские горы:

– Что сделала бы женщина на моем месте?! Э-э... сказать неловко, что сделала бы женщина. – Он смотрит на меня сокрушенно. – А я купил жене спиннинг! Понимаешь? Надо дать женщине немножко, чего она хочет. Тогда всем хорошо.

– Вы восточный деспот, – говорю я таким тоном, чтобы польстить Газиму, и вижу, как он доволен.

Довольный человек – добрый человек, поэтому Газим тут же вспоминает, чем может порадовать и меня.

– Я дежурил на вчерашнем номере, читал твою рецензию. Ну ты их – да!.. Молодчина!

Я сползаю с подоконника. Надо уходить.

– Это только вы так думаете, Газим.

– Не скажи. Меня ребята поддержали на летучке. Ты ж здорово написала! Даже редактор со мной согласился.

– Поживем – увидим, – говорю, уже

наученная опытом, и Газим, понимая меня, потому что научен еще больше, все же пытается утешить:

– Не переживай, обойдется...

И такая ободренная, я вхожу к себе, а там в кресле уже сидит первый посетитель – ранняя пташка Илья.

Он возвращается с ночной смены и, значит, располагает большим запасом времени. Сообщив, что сегодня прекрасная погода и вот-вот наступит бабье лето, Илья раскладывает на столе фотографии – целую гору! – он только что вернулся из путешествия по Енисею.

– Илья, до чего же красота!.. А статьи для нас у тебя нет? Дорожных историй там, а?... – спрашиваю с тайной надеждой урвать для своего черного четверга хоть кусочек легкой жизни.

Но Илья качает головой:

– В понедельник принесу статью. Проблемную. Экологическую. И фотографии к ней подберу. Штук пять хватит?

Человек на виду у нас, Илья. Много пишет, печатается, библиотека у него – лучшая в городе, что, правда, теперь не очень-то в цене, но все-таки... А в доме, который построил Илья собственными руками, одна из комнат отведена под бильярдную – вот это, как говорит мой коллега Алька, весьма и весьма «имиджно», во всяком случае наши парни ходят туда гонять шары и пить домашнее вино из ранеток. На заводе Илью знают как хорошего наладчика, а в прошлом – и рационализатора и даже изобретателя, что нынче, в век менеджеров и секьюрити, – такая диковинка, что хоть выставляй в музее А в умной фирме – еще и на вес золота. Так что Илья неплохо вписался и в реформенные времена, это надо признать.

Всем хорош Илья, куда ни кинь, но я ценю его не за это, а за редкую среди моих знакомых деликатность: он никогда не навязывается в друзья, не задает ненужных вопросов и умеет незаметно, не прощаясь, исчезнуть, как только почувствует, что не до него.

Он и сейчас бы исчез, но я с удовольствием рассматриваю снимки. Где-то там, может, южнее, может, севернее, но тоже на Енисее, околачивается по делам один товарищ, изредка позванивая, всегда невпопад, без учета хоть и небольшой, но все же разницы во времени. Эти звонки заставляют меня грустить и злиться, как и эта его очередная бизнес-поездка – в самый разгар нашего нечаянного романа. Впрочем, пейзажи, запечатленные Иллей, столь величественны и торже-

ственные, что оттесняют мои романтические печали на второй план. Мы говорим о дальних странах, о драматической судьбе Севера – это очень интересно и для Ильи, и для меня, с той разницей, что он сейчас дома завалится спать после ночной смены, а я останусь маяться в отсутствии нужного материала. И все, о чем мы так славно говорим сейчас, для меня – просто треп, совершенное излишество, информационный шум, как иногда, желая добить кого-нибудь из нас, выражается ответственный секретарь Паша.

Нашу идиллию именно он и прерывает – наш ответственный секретарь Паша. Он встает на пороге, и дверь сразу вытягивается вверх, потому что Паша росту невысокого.

Ехидно оглядев нас, Паша говорит:

– Беседуете? Блаженствуете? Ну-ну...

Мы, чтобы хоть каплю оправдаться, показываем ему фотографии енисейских берегов. Просмотрев их и поговорив с нами о пользе дальних странствий, он спрашивает без нажима:

– Ты когда матерьяльцы-то сдаешь?

Я давно жду этот вопрос, еще когда после летучки услышала его шаги по коридору.

– Не знаю, Паша. Сижу, видишь. Не пишется.

Терпеливый Паша выходит и отправляется дальше – его хождения по мукам начались, и начались с меня, потому что наши кабинеты, к несчастью, рядом.

Илья испаряется, а я опускаю глаза к бумаге. Может, все-таки удастся что-то выжать из этих безжизненных фраз о литературном вечере лауреатов? Для начала бы хоть слабенький всплеск эмоций... а уж потом подключится и мое влюбленное состояние – обязательно подключится, выручит... Что-то надо вспомнить, фактик, словечко... Кстати, на том вечере Иван Рогозин читал прекрасные стихи о любви, такие трепетные, созвучные... раньше я бы даже заподозрить в нем не могла ничего подобного... известный всем демагог, обалдуй... и вдруг нежность... лирика... поэзия... *«Откуда ты берешься, друг Поэзия?.. Откуда льются эти чудеса?..»* Голова моя все ниже склоняется над столом, я заторможенно не то выговариваю слова, не то отщелкиваю их на клавиатуре... или только думаю банальными сонными фразами... Поэзия – это как странный родничок, ручеек... бежит, бежит среди нашей занятости, суеты, информационного бума, и сколько бы люди ни припадали к нему, чтоб испить, ручеек не мелеет, не ослабевает... И мысли тут

же с готовностью переносят меня в густоту осеннего леса, к золотым деревьям и жухлой траве, где бежит смуглый от туманов ручеек... бежит, звенит... звенит...

Я поднимаю трубку телефона – да это первый сегодня звонок! Звонит Мария Алексеевна, наша неувядающая и великодушная, ветеран легендарного теперь уже рабкоровского движения.

– Сашенька Михайловна, – говорит она, – я уже соскучилась без дела... вы мне так давно не давали задания...

– Хорошо, подумая, подберу для вас что-нибудь, Марья Алексеевна.

– Может, сейчас так прямо и дадите? Вот, знаете, в нашем доме гастроном – такие безобразия, грязь, обвес, а колбасу, представьте, закупают у каких-то подозрительных кооператоров – и сразу на прилавок...

– Это не по моей части, дорогая Марья Алексеевна. Я могу предложить вам шестую школу, там открылся необычный музыкальный класс...

– А о кафе нельзя написать?.. Или о фитнес-клубе?

– Только на правах рекламы, Марья Алексеевна... Свяжитесь с отделом рекламы... А у меня, вы же знаете, культура, школы...

– Ну, хорошо, хорошо, давайте вашу школу...

Я рассказываю ей, к кому обратиться там, на чем акцентировать внимание, а в блокнот записываю: «Зайти в 6-ю школу», потому что Мария Алексеевна обязательно что-то напутает в фамилиях и датах, а то и вовсе не о том напишет: сдает, например, рекламу какой-нибудь ремонтной артели, описывая, как замечательно покрашены стены в школьной столовой, или постарается прославить торговую фирму, поставляющую на кухню овощи...

– Твою Марью Алексеевну все время тянет на продуктовый склад, – всякий раз издевается надо мной Паша.

– Это от вас мне она в наследство досталась, – злюсь я, но изменить ничего не могу. И материал от нее, конечно, приму, раз уж дала ей задание, и напишу за нее, все равно она не оставит меня в покое, пока не увидит свою фамилию на полсе.

...Первая фраза в отчете о литературном вечере так и не появилась, зато опять возникает Паша.

– Ты учти, мне нужно что-то развлекательное. Для «Воскресного паруса».

– Отстань, – умоляю я, – отстань, уйди, у меня ничего не получается...

Он жалостно смотрит на меня и ухо-

дит. Еще раз пролистываю папку. Ага, вот что-то как бы научно-популярное и эзотерическое одновременно... Публика от такого просто балдеет... *«Почему собака стала собакой, и притом – повсеместно...»* Ну да, ну да... Теперь собаки за все в ответе... Даже за нашу цивилизацию... Это Каролина Познанская, или как она там себя называет... я и забыла об очередном ее откровении... Наверняка надо дать в номер да еще снабдить портретом Каролины... А что? Очень даже эффектно: красивая женщина, пишет мистические статьи... Однако широко смотрит Каролина! Тут и языческие верования древних угров – мадя, тут и египетские жрецы... И собаки – как вечные контактеры между людьми и потусторонним, нижним миром... Да, пожалуй, предложу все это ради хохмы в воскресный номер, пусть читающая публика приобщится к очередной сенсации... Вот только редактор... он на сегодняшний день – яростный противник эзотерических знаний. Тоже удивительно. Вдруг возомнил себя православным до мозга костей – и когда это он успел проникнуться церковным духом? Служа еще не так давно инструктором обкома КПСС? Или будучи лектором общества «Знание – сила»? Я же помню то время, когда нас из школы гоняли на его лекции в городской музей атеизма, и мы, все девчонки до одной, были в него влюблены – в молодого, белокурого, такого правильного, достойного...

Стоп, тут Каролина еще что-то выдала! Приколола к собакам-контактерам... О, это совсем из другой оперы, однако.

Леди Агата была просто женщиной

Королева детектива, этот Шерлок Холмс двадцатого века в твидовой юбке и скромной шляпке (а вместо трубки великого сыщика – не менее знаменитая гора яблок, постоянно поедаемых писательницей, говорят, это помогло ей рассуждать над сюжетными линиями ее героев), леди Агата – Агата Кристи была в жизни просто женщиной. На Рождество, как и все англичанки, она пекла пудинг, куда на счастье прятала серебряную монетку и золотой перстень, подобно всем леди страдала от недобросовестных слуганок, подобно всем матерям на земле радовалась, когда у дочки проходила ангина. Агата Кристи любила, ревновала, обижалась, если ее обижали, и прощала обиды, когда отходила сердцем. Она была брошена мужем, горячо любимым, который предпочел Королеве детектива (а тогда убитой горем женщине, только что схоронив-

шей мать) весьма вульгарную девицу.

Грустно говорить, но благодаря этому предательству читающий мир получил новую Агату Кристи. Спасаясь от одиночества, оплакивая свою судьбу, писательница создала в ту пору целую серию женских психологических романов. Сейчас мы можем читать их – все они переведены на русский язык. И читая, будем удивляться таланту романистки, но еще больше – глубине ее женских переживаний... Господи, да есть ли счастливые женщины на свете?

Есть! Потому что потом к Агате пришла любовь. Новая любовь, и душа ее ожила и расцвела, как пустыня весной после долгожданного и все-таки неожиданного дождя... Он был моложе Агаты, известный археолог, умный, насмешливый, рассеянный и такой милый! Она влюбилась в него сразу, безумно, всем истосковавшимся сердцем – сердцем, ждущим любви и все еще опаленным прежним предательством. Израненная птица – вот кем она была. Новая любовь звала, утешала, давала новое дыхание... и пугала. Он сделал ей предложение. Но она отказала ему. Он моложе, он еще может полюбить молодую женщину... И тогда все повторится – предательство, разрыв... Этого она уже не вынесет...

Но археолог был упорным не только при раскопках древних городов в пустынях Ближнего Востока, где ему всегда сопутствовал успех. Таким же по-английски упрямым он оказался и как поклонник. И он добился своего. Агата стала его женой, и они сразу же отправились на раскопки в Месопотамию. Отголоски этого свадебного путешествия, ставшего и прекрасной научной экспедицией, слышатся во многих «восточных» романах Агаты Кристи, а особенно в необыкновенной по форме и добрейшей по сути ее книге – «Расскажи, как ты живешь...»

Они жили долго и счастливо. Не будь этой встречи, этого брака, не появились бы на свет многие ее романы и циклы рассказов, а леди Агата не была бы счастливой женщиной. А так – ее природный юмор расцвел и мягко отразился в ее героях, ведь счастливым женщинам легче шутить, чем обделенным судьбой. Леди Агата насытила свою страсть к путешествиям – теперь ее маршруты пролегли не только по всей Англии, но и по Сирии, Египту, Ираку. Ее трудолюбие окрасилось радостью: она помогала мужу на раскопках даже

освоила искусство фотографии, чтобы фотографировать на месте его находки. И писала она теперь с особым удовольствием, о чем сама неоднократно говорила.

Может, этим и объясняется тот факт, что ее книги так любимы во всех странах, у всех народов? Работа, сделанная с удовольствием, не может не приносить удовольствия и другим.

Агата Кристи до глубокой старости сохранила способность фантазировать, писать и радоваться жизни. Ее долгожительство объясняется не каким-то особым здоровьем (как и большинство англичанок, она нередко страдала и простудой, и ревматизмом), а исключительно трудолюбием и жизнелюбием. Она сохранила здравый ум, потому что ежедневно тренировала его, решая логические и психологические задачки, которые сама же и придумывала, – как еще иначе назвать те десятки детективных сюжетов, рожденных в ее голове, развернутых, исследованных, описанных и так ловко закрученных и завершенных, что никогда не знаешь, кто же все-таки совершил преступление и почему он это сделал, пока не доберешься до последних страниц.

Да, порой Агата путалась в датах и именах, но какая настоящая женщина не путается в подобных вещах? Зато она всегда знала, в какой шляпке пойдет ее молодая героиня на встречу с месье Эркюлем Пуаро или какие бриллианты будут на герцогином на светском раунде в честь приезда принца из Моравии... Агата и сама очень любила и шляпки, и бриллианты, и очень дорогие авто и, когда жизнь позволила ей все это иметь, с удовольствием покупала. Ей было что надеть и чем себя украсить, когда английская королева Елизавета пригласила ее во дворец на обед и одарила ее высоким званием Дамы Командора Британской империи.

Но Агата могла быть и другой. Уже совсем немолодая, она, сменив деловую твидовую юбку на спортивные брюки, отправлялась с мужем в очередную экспедицию, в горы, в пустыню, терпела долгие лишения и неудобства, заботилась не только о своем увлеченном и непрактичном муже, но и о рабочих-арабах: есть ли у них вода, не голодны ли их дети...

И, получив при жизни всемирное признание, она оставалась просто женщиной: как и в молодости, любила повозиться на кухне, следила, взял ли муж,

уходя из дома, свежий платок, и уж, конечно, знала все новости из жизни знакомых дам.

Быть просто женщиной, даже если ты Королева детектива? Да возможно ли это? Агата Кристи доказала, что это самое лучшее, что может сделать Королева, – быть просто женщиной.

Однако я зачиталась. Ай да Каролина! Не знаю, как шефу, а мне точно пришлось по душе... Думаю, ему тоже это понравится больше, чем о собаках... хотя бы потому, что Агата Кристи реально существовала, а сверхъестественные таланты наших четвероногих друзей все-таки еще не доказаны... Вообще, надо Каролину на шефа натравить, ведь она сама – потрясающая женщина, ни один мужик не устоит... каждый чувствует всей плотью ее эзотеризм. Пусть бы она пообщалась поплотнее с нашим достойным шефом, пусть бы поразвратила его девственное сознание, а то и вообще обратила бы его в язычника... Нам бы легче, кажись, было... К тому же она плодовита, можно будет с благословения шефа открыть рубрику... что-нибудь вроде «Новости от Каролины Познанской» – тогда каждую неделю полоса в «толстухе» будет обеспечена совершенно читабельным материалом. И не подкупаешься, не из Интернета ведь, своя, доморощенная...

От этих гнусных планов я впадаю в изнеможение, бросаю всё, что лежит на столе, и плюхаюсь в кресло для гостей. Как хорошо быть гостем в редакции и как тяжело нам сидеть за ее рабочими столами! Особенно мучит это бесконечное и каждодневное – надо, надо, надо... А у меня нет сейчас ни одного живого слова в запасе, ни единого интересного факта! Да если бы даже и был? Откуда взять запал, искренность? Душа ведь томится со всем другим...

И сразу – как волной накрыло: драгоценные воспоминания, запретные, припрятанные, никому не ведомые... Наш летний побег с товарищем за город, в разнотравье, в грехопадение, в счастье... Почему-то мой нежный товарищ представляется в моем воображении чаще всего на просторе, на природе, на натуре – в степи, среди ковылей и разноголосицы кузнечиков, на пустом песчаном берегу, и даже если в горах, то тоже на местности, открытой всем ветрам. Мечты, мечты... Обычно я вижу его как раз в интерьере: в прозаической столовой, где мы еще так недавно ежедневно с ним обедали, в его кабинете с изразцовой стенкой, чудом сохранившейся при перестройке и ставшей

украшением спортотдела, в пресс-клубе на больших недельных летучках...

Эти большие недельные летучки, в отличие от бессмысленных утренних накаток, нами были любимы: мы всегда сидели с товарищем рядом, за одним столом, и обменивались ядовитыми записками-комментариями на выступления руководства и коллег. Это немножко было похоже на школу, когда мы, старшеклассники, расслабленно сидели на уроках, охваченные томлением юности, предчувствиями, влюбленностью, рассеянно слушали учителей, комментируя их наряды, интонации, жесты, снисходительно обожая их, почти родных, почти надоевших...

Чаще всего под наш обстрел на таких летучках попадала культовая фигура отечественной журналистики – Иосич, правая рука шефа, главный идеолог нашей жизни. Только в силу своего возраста он не числится замом редактора – Иосичу далеко за семьдесят. В нашем творческом коллективе он самый творческий человек, свободнее всех свободных... Но отдельный кабинет за ним закреплен, там Иосич разрабатывает стратегические планы, как нам выжить в мире перенасыщенного рынка, в море конкурентных изданий, как сохранить хотя бы видимость независимости и не пропасть поодиночке. Эти свои планы, иногда весьма радикальные, вроде сдачи редакционного дворика в аренду под казино, распивочную или еще под что-то столь же полезное, Иосич и любит обнародовать на наших больших летучках. Ну, как тут не поизгаляться над человеком? Впрочем, Иосич об этой нашей блиц-переписке, разумеется, ничего не ведает, да и никто другой – тоже.

Но теперь кончились и обеды, и записочки, и наше с товарищем общение на людях, и тайные свидания... Товарища зафрахтовал богатенький футбольный клуб, так что поездки следуют одна за другой – то сборы у футболистов, то игры, то далеко, то близко... И душа моя переместилась в виртуальный мир телефонных звонков, SMS, грустных моих снов, редких его писем...

«Здесь уже совсем осень, а перед глазами (потому что в сердце!) крутится, крутится карусель нашего счастливого лета... Спасибо тебе, Гаврош! Это всё ты – и такое лето, и карусель счастья, и даже сегодняшняя моя бестолковая карусель поездок, против которых ты так возражала... Считаешь, сбегал? Как знаешь, а без тебя я скучаю...»

Боже мой... Боже мой... как вырвать-

ся из этого, как вернуться к себе самой, к устоявшейся жизни, к родным моим людям?... Серега, конечно, ничего не знает, но все равно по вечерам проявляет странное терпение ко мне, без умолку рассказывает всякую чепуху, а я слушаю вполуха и раздражаюсь... Ромка пошел во второй класс, столько событий каждый день у ребенка – и тоже все как бы мимо меня... Ужасно, ужасно... что я себе думаю?.. Тем более, что и товарищ-то... просто кинул, можно сказать, помчался за этим своим бизнесом, как за последней копеечкой... Мог бы и погодить с отъездом... мог бы побыть еще рядом... хоть немного... пока такое счастье... Неужели нужно всё забыть?.. Как будто и не было ничего... взять и запретить себе даже думать?! Так будет лучше?..

И в комнате, и за окном во дворике тихо-тихо... Никто не собирается отвечать на мои вопросы, никто... Даже неуловимый Некто – уж ему, наверное, все ведомо... Наверное, за столько-то ночей прочитал все записные книжки в моем столе... Это не мои книжки – это товарищ привозит их из своих последних поездок, чтоб я читала, радовалась и знала, как он много думает обо мне... Письма он присылает редко, в основном звонит, да вот записные книжки... То была его идея, я бы до такого не додумалась... В ответ я должна отдать ему свои дневники за это время – чтоб и он читал, радовался и знал, как много я о нем думаю... Детский сад, честное слово... Но все равно трогательно...

Конечно, это трогательно, когда тебе пишут: *«Ты нужна мне на всю жизнь. Как людям нужны цветы, земля, тепло и любовь...»* Сильно красиво? Аж переборщил? Но написано человеком, очень далеким от цветов и прочего... Так на него не похоже... Потому я и расклеилась?.. Может, правда любовь?

Долго сижу в этой безрезультатной тиши, не разобравшись ни на йоту в делах сердечных и не сдвинувшись ни на строчку в делах творческих, пока не вспоминаю, что не одна на белом свете. Звоню своей боевой гвардии – мужская часть отдела культуры, которым я руковожу по штатному расписанию, сидит на первом этаже – и зову ребят к себе.

Уже по тому, как входят они в кабинет, понимаю, что номер пустой. Алька сразу начинает врать и канючить, а Гриша добросовестно докладывает, что именно он узнал, побывав вчера в колледже (нет-нет, поправляется он, уже опять ПТУ, недавно переименовали эту структуру!), и с чего

начнет очерк о мастере по автоделу...

Очерк о ПТУ – это хорошо, это своевременно. Вон даже Государственная дума озаботилась судьбой вымершего профессионально-технического образования, даже президент обязал крупный бизнес открывать и содержать ПТУ... Редактор будет весьма и весьма доволен нашим быстрым откликом на высочайшие решения... Молодчина Гриша, никак я не ожидала от него такой прыти!..

– Ладно, ладно, – останавливаю поток его слов, – поберегите, Гриша, эмоции для очерка, а то всё сейчас расплескаете. Сделаете сегодня?

Гриша пугается – он у нас совсем недавно – и робко говорит:

– Я думал – через неделю...

– Гриша, у нас газета ежедневная, а не еженедельник. Постарайтесь к понедельнику... Дадим анонс на первой полосе!.. Можно с портретом героя. Не скупитесь о хорошем-то человеке...

Гриша – опрятный юноша, вчерашний десятиклассник, взятый редактором в штат явно по чьей-то просьбе – эдак для пробы творческих сил, выходит и аккуратно прикрывает дверь. Аккуратность – пока единственная его достопримечательность. Что будет дальше – жизнь покажет. Но сегодня он меня крупно обнадежил.

Другое дело – Алька.

У Альки достоинств – успевай только фиксировать: от рыжебрового голубоглазого лица до веселого благодушия, которым он переполнен с утра до вечера. Он терзаем постоянным желанием делать добро людям – всем и во всем, в большом и малом. А талантлив! Из ничего, бывает, сделает конфетку – гвоздь номера.

Недостатков у Альки только два, но зато глобальные: он лентяй и враль. Ну, лень еще как-то объяснима, в молодости многие ею грешат, но вранье у Альки – стихийное бедствие! Главное, что он и сам от него постоянно страдает. Чего с ним не случилось за эти годы! То наобещает нашим женщинам дешевые меха на зимние шапки, соберет деньги, растратит, потом расплачивается полгода, влазит в долги. То достает новейшие пищевые добавки по великому знакомству – и опять обман, растрата, скандал. То порекомендует няньку в семью, а она окажется аферисткой. Он уже провернул несколько похорон иногородних родственников, хоть мы подозреваем, что родня его вся жива и здорова; пару раз попадался на плагиате – и из каждой такой истории надо его выпутывать, выручать, спасать... Надоел

мне Алька за эти годы. Потому я с ним уже не церемонюсь.

– Сегодня что сдаешь? – спрашиваю, отменяя напрочь его отчаянное сообщение о больной жене. – Иди с глаз, дармоед, и вечером принеси материал. Хоть сто строк, слышишь?

Алька краснеет от удовольствия, приосанивается – для него мучительно только минуты вранья, но когда врать уже нет нужды, он сразу становится веселым человеком.

– Я сейчас же побегу в «Аврору», и вечером все будет. Напишу рецензию.

Он срывается с места, и я знаю, как оно получится дальше. Он, действительно, пойдет через дорогу в кинотеатр, солидно поговорит с директором о новых отечественных триллерах, о возрастающем интересе публики к нашему кино, наобещает бесплатную рекламу в воскресном номере, сядет на лучшее в зале место, посмотрит новую киношку и до вечера будет драть подходящие фразы об этом фильме из рекламного журнала и режиссерского сайта. До чего же обидно! Спосособный парень, а уже привык жить налегке. И в этот раз, не моргнув, принесет рецензию и даже изобразит творческие муки на лице, а мне опять придется вернуть ее, отругать Альку, предупредить «в последний раз» и отправить работать до понедельника. А это значит, что только в понедельник на столе будет лежать прилично написанная рецензия. Выходит, сегодня – ни от кого ни строчки. Надо сочинять самой.

Дверь тихонько открывается; я думаю, это Гриша – спросить что-нибудь вроде того, надо ли в очерк вводить всю биографию героя или достаточно описать отдельные эпизоды, – и не поднимаю головы. «Зачем я согласилась заведовать отделом? – запоздало сокрушаюсь, и не в первый раз. – Как было хорошо раньше: отвечала сама за себя, спокойно работала, сдавала всё в срок – вольная жизнь... А теперь?»

Вошедший ни о чем не спрашивает, я отрываюсь от компьютера и вижу, что под стеночкой, на краешке стула, сидит Евдокия Васильевна, крохотная горбатая старушка, в платочке, вся до сияния чистенькая и синеглазая. Она быстро и бесшумно подхватывается, так что я даже не успеваю выйти из оцепенения, дотягивается до моего виска, целует поспешно и, засмеявшись от радости, снова садится на краешек стула.

– Ты меня прости уж, старую, это я так, от любви.

Я тоже смеюсь радостно, подхожу к Евдокии Васильевне, сажусь перед нею на ковровую дорожку – так удобнее смотреть снизу на прекрасное лицо старой искаленной женщины.

Она рассказывает, как теперь нянчит правнука.

– А кто ж им поможет, молодым-то? Хоть и далёко, а езжу к ним каждое утро, пораньше. Это сегодня внук в отгуле, так и я свободна.

Рассказывает, как сочиняет стихи, пока играет с малышом.

– Едва глаза устанут книжки ему читать, начинаю сочинять свои стихи, и он слушает, такой славный мальчик, слушает, не плачет, выходит, есть в моих стихах что-то ладное...

Ладного в ее стихах ничего нет, это я точно знаю. Еще лет шесть назад, когда она впервые переступила порог этого кабинета и попросила посмотреть ее стихи, я поняла, что и мудрая природа, бывает, дает маху. Потому что подарить этой женщине непередаваемой красоты лицо и придавить сверху горбом, состарить ее от болей и невзгод и оставить молодыми глаза и голос, осчастливить доброй душой и цепкой памятью на все хорошее и научить лепить тусклые, глухие, как пыль, стихи, – это, конечно, какой-то сбой в природе. Шесть лет общения с Евдокией Васильевной я мечтаю, что однажды она принесет стихи, в которых можно будет найти хоть две строфы, заменить в них половину слов, выправить ритм и опубликовать в субботней литературной подборке. Большого для нее я не могу сделать. Совсем написать за нее стихи и поставить ее фамилию, как иногда мы делаем со статьями наших друзей-активистов, – нет, такую ложь она не примет и не поймет, а вот если бы половина слов осталась ее...

Евдокия Васильевна роется в сумке, достает газетный сверток, разворачивает, протягивает мне стопку листов, перевязанных голубой ленточкой.

– Это я тебе, дитяtko мое, написала в подарок. И не надо это печатать. Это только для тебя. От всего сердца.

Я развязываю ленточку, читаю стихи. Сердце рвется от жалости, и беспомощности, и нежности... Но зареветь нельзя – нельзя огорчать Евдокию Васильевну.

– Может, что в моих стихах и не так, ну, ты не горюй и не обижайся. Не знаю, как иначе отблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня.

Господи, ужасаюсь я молча, ничего я не сумела сделать, ни грамма. Не смогла

ни строчки напечатать, даже в гости к ней не собралась, хоть сколько раз она просила зайти! Все некогда, некогда, недосуг!

...После ухода Евдокии Васильевны я совсем загрустила. Работать не получалось, театр молчал – видно, надвигалась гроза. И любимого моего товарища не было рядом. Только его записные книжки в столе, читанные-перечитанные насквозь, в поисках чего-то большего, чем сказано на бумаге, хоть там и немало сказано.

«Гаврош, все у нас должно быть заново, снова, и только мы вдвоем... Без всякого постороннего даже шума... нам ничего не нужно постороннего... Понимаешь ли ты меня? Мы поклялись, что все достигнутое – наше. Значит, ты – я, я – ты. Гаврош, значит, это нераздельность судьбы? Ответственность – на двоих. Жизнь одного – за двух, двух – за одного. Представляешь, сколько это силы!..»

Я читаю, читаю, кажется, знаю все уже наизусть, но привыкания нет. И покоя нет. Нет покоя.

Вспоминаю грустные глаза пропавшего из вида товарища, его короткие звонки, внезапную записку, переданную на днях через десятые руки... Почему-то не доверил ее почте... Думал, с нарочным будет быстрее? Но она добиралась ко мне, если судить по дате в конце записки, недельки две... Я и сейчас помню ее, хотя несколько дней не брала ее из ящика стола и не перечитывала... Тут я одергиваю себя. Зачем эта поза? Что скрывать, я запомнила ее сразу... Наверное, и Некто читал ее и изучал все особенности почерка и слога моего путешествующего вдали товарища...

«Унеси от меня любимое тобой кресло, поставь в своей комнате, пусть будет для гостей... Пусть вообще все будет на своих местах: белые астры на твоём столе, хорошие книги в шкафу и мое кресло у тебя перед глазами. Тепло и уютно. Словно я коснулся тебя, Гаврош...»

Не гениально, может, даже банально... но какая разница? Сердце щемит от этих вовремя написанных слов... конечно, лучше бы их услышать... да чтоб сказали их тем странным шепотом, от которого рушится судьба... или, наоборот, теперь что-то в ней продолжилось?..

Я закрыла папку с бумагами, выключила компьютер, чтоб не гудел над душой, прилегла на раздольный мраморный подоконник и стала смотреть в наш дворик,

куда можно попасть или через ворота в проходной арке – вечно запертые, или через низенькую дверь в тупике коридора – мы вспоминаем о ней далеко не каждый день, да и она не всегда открыта. Существует еще один путь, но он доступен только мальчишкам соседних дворов: через толстую беленую стену, кое-где заплетенную плющом. И то надо сказать, мальчишки быстро охладели к нашему дворику, не найдя там ничего, кроме груды битого кирпича, поломанной скамьи и старой березы, на которую нет смысла лазить – такие березы растут в любом дворе в этой старой части города. Мы давно собираемся облагородить наш дворик, но в обычные дни руки не доходят, а субботников в редакции не бывает. Иосич, наш главный идеолог, а по совместительству – по старинке – агитатор и пропагандист, уже несколько раз на летучке предлагал сдать дворик в аренду. Мол, центр города, место бойкое, вполне годится под летнее кафе или под павильон с игровыми автоматами – это ж сумасшедшие деньги были бы в редакции! Каждый раз от такого напористого предложения Иосича нашему редактору становится дурно, он просто теряет дар речи и только машет руками на Иосича, нарушителя всяческого покоя в этом мире. И пожалуй, это единственный случай, когда я полностью на стороне шефа. Только игровых автоматов нам и не хватает под окнами!..

Сейчас дворик был во власти стаи воробьев, они сидели на кустах лебеды, клевали, чирикали, дрались – хорошо жили, вольготно. Стало подсыхать, утренний туман давно разошелся, действительно, как говорил Илья, не сегодня-завтра наступит бабье лето. Вот бы сбежать к воде, побродить, посидеть на берегу, взглядываясь неизвестно во что – в приятный угомонившийся мир, ждущий солнца.

Но сбежать не с кем. С Серегой давно уже такие побегии не в радость: или молчим всю прогулку, или находим повод для перебранок. Начнем с какой-то мелочи и почти поспоримся... Постоянно даю себе слово быть с ним терпеливее и дружелюбнее – как раньше, но ничего, ничего не получается...

Конечно, с уехавшим товарищем была бы прогулка приятнее. Да что там – счастливее! У нас с ним та пора влюбленности, когда всё в радость, нет ни упреков, ни обид, не цепляемся к словам, ничего друг от друга не требуем... Может, потому, что хочется говорить пока только приятное, когда он рядом? Интересно, а было бы с ним так хорошо и через десять лет? Эх,

зачем девки спешат рано выйти замуж? С годами так меняются вкусы... И зачем мой дорогой товарищ уехал? Зачем пошел в услужение к этим региональным суперменам – героям Большой Ноги и Быстро Мяча?... И носится теперь с ними по всей стране... Полная зависимость!.. Ну да, деньги ему там перепадают не то что у нас, но все-таки по своей охоте стать немножко придворным репортером, нет, это уж слишком...

Тут я опять одергиваю себя – теперь за это никчемное чистоплюйство. Подумаешь! Зависимый, придворный... А мы кто? Свободные люди, что ли? Только к тому же – нищие... Ну, положим, не совсем чтобы так уж нищие... это я, конечно, от грусти впадаю в крайности... Так грустно, когда нельзя звякнуть товарищу на нижний этаж, в его беспокойный отдел спорта, и потрепать его о том о сем, лишь бы слышать его голос. Или вообще без звонка спуститься к нему в его громадный кабинет, сесть под изразцовую стеночкой (мы все любим фотографироваться с гостями редакции на фоне этой столетней достопримечательности) и болтать без умолку или слушать его треп, пока не заглянет в дверь ночной охранник в полевой форме, с кобурой на поясе, или товарищу не позвонит его жена с просьбой заехать по дороге домой в магазин за продуктами. Алла Петровна – женщина скромная и просьбами его не обременяет...

Осенний холодок тянет в форточку, проплывает над моей грустной головой... осенний холодок вместе с запахом перезревшей лебеды и чириканьем воробьиного семейства... Благодатное лето, такое яркое, такое счастливое, позади... Как быстро, как быстро бежит время!..

А ведь именно сейчас может возникнуть богатырь Жбанов – теперь великий бизнесмен, а вообще-то просто старый друг редакции. И мой старый друг. Явится прямо из рейса, еще пахнувший дизельным топливом, еще диковатый – особенно на фоне нашей всеобщей политкорректности... Зажмет меня в углу, даст волю рукам, ошарашит какими-то немислимыми словами, и всё это – в считанные секунды, пока Паша, верный страж моей нравственности, не ворвется в комнату и не скажет грубо, неделикатно:

– Пошел, пошел, Жбанов, отсюда, Александре работать надо.

– Работать! – огрызнется Жбанов. – Эксплуататоры!

И тогда всё должна решить я сама, последнее слово в такой ситуации

обычно остается за мной. Или я скажу:

– В самом деле, Паша, не пора ли мне проветриться? – Это если голова моя полна мыслей, если хорошо пишется и вообще если все прекрасно.

Паша, конечно, обидится за такие слова, перестанет называть меня Зайцем, как называет в благополучные дни, но потом отойдет: хоть я и легкомысленная особа и, может, кого-то подвожу своим легкомыслием, но только не газету – строчки сдаю. А это для Паши в конечном счете – главное.

Ну, а если у меня на душе тоска и серость, говорю Жбанову:

– В самом деле, что ты как бешеный. Не понимаешь? Мне работать надо.

И тогда Паша сияет, уводит Жбанова к себе; они долго курят за стеной, пьют пиво или что покрепче, хохочут, говорят о женщинах, больше об их недостатках, – и мне достается, это я уж точно знаю.

Самое время явиться сегодня Жбанову, так сказать, с визитом. За этот сезон он, речник, механик, угробил две свои лодки, сейчас у причала стоит новая, обшитая, отделанная под первое число, почти катер; самое время явиться ее хозяину – и, может, наперекор всему я соглашусь прокатиться с ним сегодня по реке.

Правда, с этим чертовым Жбановым не так-то просто сладить. С ним надо быть всегда начеку, покрикивать да поругивать – строжиться, как говорят в наших таежных краях, держать его в узде, как считают наши женщины. Про узду – не знаю, а строжиться на Жбанова я по-настоящему не могу. Когда-то я таки побывала с ним в романтическом путешествии по реке... В том давнем и дивном плавании я познакомилась с Серегой, своим будущим мужем, а Жбанов до сих пор не может ни забыть мне этого, ни простить.

Появись он сейчас да уговори меня оторваться хоть на часок... Эх, была не была!.. Эх, залетные, быстрые, моторные!.. Эх, речка-матушка, позволь прокатиться-прогуляться на свободе, с ветерком!..

Нет, несмотря на всю заманчивость такой авантюры, я, конечно, с большим удовольствием оказалась бы сейчас не на нашей просторной и еще пол-летнему даже теплой реке, а совсем-совсем в других местах... горных, великолепных в вечной гордыне... где золотятся под солнцем дикие озера и откуда стремительно вырывается Енисей – тот самый Енисей, который течет и течет без конца и края с юга на север и качает, может быть, в эти минуты на своих волнах моего путешеству-

ющего товарища... наверное, он забыл сейчас про все на свете и в первую очередь – про родную газету и про тех, кто остался в ней, мучается и тоскует... А я бы послала ему с верховий, с вечно холода заснеженных берегов такую теплую весточку, что растопила бы и снега, и его забывчивое сердце... Уж не знаю, как послала бы: в бутылке ли с запиской, или с птицами, летящими на север, потому что есть не только люди, стремящиеся за полярный круг, есть такие же странные и неугомонные птицы...

А перед глазами у меня только захламленный дворик, а за спиной у меня только пустая комната, и внизу, прямо подо мной, закрытый рабочий кабинет моего спортивного коллеги, который, когда бывает в редакции, смотрит в такое же окно, на тот же дворик. Но сейчас моего товарища окружают совсем-совсем другие пейзажи... и он совсем-совсем не думает обо мне...

И так становится тошно от этой моей забывости, что даже визиту оглашенного Жбанова будешь рад.

...Я еще долго кукарекаю в одиночестве у окна, размышляя о неожиданных поворотах судьбы... Жбанова, слава Богу, нет, и тут я наконец явственно понимаю неизбежное: надо садиться и работать. И, уяснив это, включаю компьютер, открываю файл, в котором за сегодня нет еще ни единой строчки, и начинаю уже заявленный когда-то очерк о городском художнике Леониде Бондаренко, на чьей выставке недавно побывала и над чьими пейзажами плакала при полном стечении публики. И сей факт тут же заснял для истории наш фотокор Коля, обещая при случае обнародовать эту дивную картинку.

И теперь, опять шмыгая носом, но уже в одиночестве, я стала поверять светящемуся монитору все свои печали и восторги, вынесенные из этой выставки: как у Леонида Бондаренко густые дожди идут над рекой, как светятся сиреневые снега, как грустит теплая осень – такая недолговечная в наших краях, как само человеческое счастье... И так хорошо становится у меня на душе от каждого найденного точного слова, такое важное объединительное начало поселается во мне в эти минуты, такая благодарность ко всему мирскому... как будто только для меня писал Леонид Иванович свои нежные пейзажи и как будто только я могу передать их красоту дальше – читателям...

Так замечательно пишется, строчка за строчкой, страница за страницей... Но

тут с одышкой и сопением перекатывается через порог тучный Иосич, падает в кресло, вытирает платком свое совсем расплывшееся лицо и объявляем громкогласно:

– Читал... читал вчера в номере... Ну что ж, крупно ты их трягнула... круто сделала... опередила старика... опередила... да я не в обиде... Моя рецензия будет в воскресенье... в «Новом дне».

Однако! Проспал весь спектакль, а рецензию все-таки накропал. Ну, Иосич!

– Вы тоже ругаете? – спрашиваю я просто для формы.

Известно же, что о театре он или хорошо, или ничего.

– Я не такой кровожадный, девочка моя... я не кровожадный... Хотя, может, и надо было на этот раз... Может, ты и права...

Иосич – мой всегдашний конкурент. Меня-то это не очень волнует, но он относится к театральным публикациям ревностно. Это давнее хобби Иосича, отдушина в его крошечной идеологически-коммерческой жизни.

На театральные премьеры мы ходим по контрамаркам обычно вместе и садимся рядом. Едва погаснет свет в зале, Иосич кладет руку на мое острое колено, я тут же ее деликатно возвращаю ему, но он этого уже не слышит: к тому моменту он засыпает, слава Богу, без храпа. При аплодисментах публики он мгновенно пробуждается, в антракте ведет меня в буфет, рыцарски угощает шампанским, причем пью только я, поскольку он не пьет даже квас, но это особый разговор. Потом мы идем досматривать спектакль – и мирный старческий сон Иосича продолжается вплоть до прощальных аплодисментов зрительного зала.

Рецензию, как и прочие свои газетные материалы, он не пишет, а надиктовывает: раньше кому-нибудь из редакционных машинисток, теперь – жене, купив ей компьютер и оплатив ее учебу. Тетка она немолодая и далекая от всякой техники, но набор текста на компьютере освоила ради любимого своего Аркаши.

Их любовь – это целая история. Иосич спустился когда-то в наш город – как с небес. Он работал в столице в одной из центральных газет, пил, пил, говорят, по-черному и допился до ссылки собкором в нашу далекую провинцию. Но и здесь он пил – теперь уже и от обиды, его вытуривали по очереди из газет всех рангов и уровней, пока он не докатился до выпуска каких-то агитационных листов и до ночлега на газонах. На газоне его и подо-

брали две тетки, идущие ночью со второй смены, и, как говорится, обогрели, накормили, и на одной из них он женился. Мало того, он бросил пить, да так решительно, что даже вроде бы чересчур – боится теперь и квасных градусов.

Правда, в Иосиче тут же открылась другая страсть, видимо, как компенсация за утерянные радости. Страсть эта – к деньгам, но не гобсековская, не плюшкинская – он легко с ними расстается, нет, это страсть добытчика – совершенно необузданная... Задолго до рыночных реформ он уже осваивал новые сферы частного предпринимательства: писал в различные инстанции жалобы от имени многочисленных просителей, и тарифы за эту услугу были у Иосича весьма высоки. Видимо, он поднаторел так, что поставил дело на поток. Он встречался с клиентами, сидя на лавочке в центре городского сквера – ни один фининспектор тогда или налоговый тепер не смог бы заподозрить его в подпольном бизнесе и уходе от уплаты налогов. В самом деле, сидит старик на солнышке, отдыхает, оживленно общается с соседями по лавочке... Это пока никому не возбраняется, правда ведь?.. Меж тем жалобчики – обиженные и оскорбленные в самых разных кабинетах и офисах – знали, где его найти, передавая по цепочке координаты и время его приема, шли сюда напрямик и никто из них, кстати, за много лет этой деятельности Иосича не провалил явку... Иосич выслушивал очередную просьбу, назначал цену за работу и, если клиент соглашался, писал дома нужную бумагу в нужную инстанцию. А поскольку он владел пером, был вхож к чиновникам всех рангов и знал тонкости бюрократической системы, написанные им бумаги приносили просителям должные результаты, а Иосичу обеспечивали славу, клиентуру и доходы. Так что к приходу рыночных отношений он был готов, как никто из нас.

И все же главный, так сказать, профессиональный, жанр еще с советских времен у Иосича был иной – очерк. Он не гнушался героями-работягами, но особенно любил писать о людях влиятельных, и влиятельные люди любили, чтобы их прославлял в периодической печати именно Иосич. Видимо, для них это было чрезвычайно «имиджно», как выражается сегодня молодой репортер Алька. Возможно, даже очень известные люди не всегда узнавали себя в очерках Иосича, но опровержений никто из них не присылал, наверное, в самом деле «Имидж – это всё!» Дело в том, что поголовно все

герои в описании Иосича были – как на подбор: молодые, красивые и с голубыми глазами. Может, потому что сам он был старый, толстый и некрасивый.

Писал (вернее, диктовал) он блоками: портрет героя, биография, его служебные или производственные достижения... И обязательно – долгое и уютное чаепитие автора в гостях у героя. Блоки просто переставлялись, менялись местами, и очередным историческим чаепитием очерк мог начинаться, или, наоборот, гостевание при самоваре появлялось в финале. Причем блоки в очерках были не только структурные, но и лексические, так при сооружении типовых зданий используются и целые стандартные модули, и унифицированные строительные детали. Не исключено, что именно крупноблочное строительство, которое по времени совпало с расцветом творческой биографии Иосича, и повлияло столь значимо на его авторский стиль, забетонировав его на десятилетия.

Как-то Иосич написал об одном крупном физике.

– Иосич, а ведь у Валерия Грушевского глаза не голубые, а очень даже карие. Он вообще брюнет, – не выдержала я.

– Какая разница? – удивился Иосич. А потом признался: – Я его вообще никогда в жизни не видел.

– А как же вы?..

– Да поговорили с ним по телефону... Без проблем.

– И чай с ним пили по телефону?.. Ну, вы мастер, Иосич!

– Поживешь с мое, научишься, девочка.

И вдруг я подумала: а в самом деле, так ли важно, какие у реального героя в жизни глаза? Важно ли это тем тысячам читателей, кому очерки Иосича нужны как нечто стабильное, правильное, жизнеутверждающее?..

Вообще, старику Иосичу можно простить многие прегрешения. Кроме одного... Впрочем, доказательств его участия в том драматическом деле нет, ходят только слухи, так что, возможно, старик просто терпит напраслину... А дело в том... ох, даже думать не хочется... Но самые осведомленные в журналистских кругах упорно твердят, что именно Иосич съел нашего прежнего редактора Ивана Семеновича. Дескать, нашла у них коса на камень, в чем-то Иван Семенович не уступил, не дал поблажки Иосичу – и пиши пропало. Впрочем, некоторые называют причину посерьезнее, чем вздорность и мстительность Иосича. Мол, Иван Семенович слишком много знал и потому был уязвим. А Иосича использовали в этой

расправе как орудие – этакий безкровный киллер... Обошлись, впрочем, с Иваном Семеновичем по-свойски, по нашим временам так даже гуманно: на какой-то крупной тусовке спровоцировали скандал и вроде драку – это легко организовать, Иван Семенович – мужик горячий, да еще по пьянке... Так что загорает он теперь тихонько где-то на дачке, на речке, как счастливый обеспеченный пенсионер. Что ж, для него, может, и лучше – поживет еще на белом свете... А мы... а мы... Нас даже не продали, просто отдали в чужие руки – чужой душе, чужой голове... Кто мог подумать, что так тяжело будет привыкать, приспосабливаться и даже делать вид, что все идет, как прежде...

Газета никогда спокойным прибежищем не была. Случались, случались схватки боевые и раньше, и при Иване Семеновиче. Каждый из нас грешит то спешкой, то ленью, то ошибками, что-то важное не удавалось пробить, что-то любимое не написалось... Но недавняя наша такая беспокойная жизнь воспринимается теперь нами совсем по-другому, как будто все мы враз заболели ностальгией не по стране, а по времени.

Впрочем, в присутствии Иосича мы об Иване Семеновиче не упоминаем – ради собственного покоя. От греха подальше. Иосича начинает трясти при этом имени, он орет что-то неприличное, брызжет слюной во все стороны, очки валяются на нос, глаза наливаются кровью... Кажется, его в любое мгновение от этого гнева хватит удар – и будешь потом до конца своих дней терзаться угрызениями совести, что довел старика...

Наш нынешний редактор панически боится Иосича, заискивает перед ним так, что даже нам, толстокожим, делается не по себе. Глядя на это, поневоле подумаешь, что слухи о киллерстве Иосича, может, не такие уж и беспочвенные. При желании хоть кого завалить можно подобным бесхитростным приемчиком – как и случилось с Иваном Семеновичем. Хороший урок для нынешнего шефа. И он его, видимо, усвоил. Вот и стелит соломку...

Поскольку Иосич бывает в редакции нечасто, а дел у него здесь хватает, то сидит он у меня, слава Богу, недолго.

А я возвращаюсь к своему горемычному, выстрадавшему очерку о художнике Леониде Ивановиче Бондаренко... И вдруг, наверное, под свежим впечатлением от Иосича, меня поражает очевидная несовместимость этих двух людей. Тихий, застенчивый Леонид Иванович – и неистовый, необузданный Иосич. Они, наверное, сверстники, но Леонид Иванович при

всем своим талантом так и не вышел ни в люди, ни в богатство. Да что там богатство! Он элементарно не вышел из своего подвала-мастерской, с голой лампочкой у низкого влажного потолка, с электроплиткой на табурете, на которой чаще всего можно увидеть большую алюминиевую кастрюлю – даже не с кашей, а с вареным горохом, что дешевле.

И персональная выставка у него случилась первая в жизни, хоть ему за семьдесят, хоть и талант! А до этого картины его стояли в мастерской за допотопным книжным шкафом – как виноватые – лицом к стене... И какое же это было редкое счастье, видеть их, когда художник, смущаясь, мучаясь, доставал одну за другой из их горемычного убежища и расставлял, расставлял...

И я опять тоскую, сидя перед компьютером, теперь уже от сочувствия ко всем талантливым непробивным художникам земли нашей... Никому они не нужны, затерялись в жалких своих мастерских, среди подвалов и чердаков, спиваются, если пьют, хандрят, если не склонны к зелью, как Леонид Иванович, но работают и все-таки на что-то надеются...

Когда я поднимаю голову от клавиш, в комнате уже темно, почти сумеречно. Значит, солнце окончательно ушло с моей восточной стороны и гуляет теперь в иных окнах... А может, сумеречность только кажется. Просто устали глаза.

Приглядевшись, я убеждаюсь, что во дворике за окном, действительно, опять стоит туман. Сырость тянется в форточку, стелется под ногами; мне зябко, но спокойно, даже опустошенно.

Паша на обеде, и я иду в секретариат, прямо к верстающей и дизайнеру по совместительству Тоне, сажусь рядом, смотрю, как она молниеносно втискивает мой очерк в отведенные для него колонки, как подбирает оттенки, чтобы точнее передать бондаренковскую гамму, то заливая экран монитора речной голубизной, то радуя глаз еще летним солнечным изобилием... На мониторе получается так красиво, но в газете, конечно, все потеряется на плохой бумаге.

Тихий гул Тониного компьютера напоминает не то шум медлительной волны, не то закипающий чайник, я согреваюсь, меня клонит ко сну, и, если бы я не боялась помешать Тоне, прислонилась бы к ее плечу и уснула бы.

– Ты сегодня обедала? – спрашивает Тона.

– Да нет, знаешь, как-то не получилось.

– Ну, вот видишь. А мы уже поели, и без тебя. Это все Пашка. Запретил захо-

дить к тебе, мол, много болтаете, сидите, а Зайцевой работать надо. И я, дура, послушала, не зашла за тобой.

«Что это он всё распоряжается? – думаю я во гневе, хоть гнев у меня слабый и сонный. – Надо сказать ему, наконец. Это переходит все пределы».

Паша уже на месте, дверь широко открыта, он сытый и доволен жизнью. С ним такое случается редко. Захожу к нему, говорю:

– Вот.

– Что – вот, голуба моя?

– Очерк о Бондаренко уже поставили на воскресенье. А ты не читал.

– Ладно, прочту в полосе. Я же знаю, там всё на уровне. Столько вынашивала...

– У тебя не спросила, сколько мне вынашивать!

Я высокомерно иду к двери.

– Подожди, Заяц, – умоляюще зовет Паша, – я посоветоваться хотел...

Я не намерена прощать все его выпадать так быстро, но к столу возвращаюсь.

– Понимаешь, всё вожусь с «толстушкой»...

Он пододвигает расчерченные по старинке листки макета – Паша у нас консерватор: не признает шариковых ручек, пишет только наливными, а еще не макетирует на компьютере – пользуется старыми бланками полос, наверное, еще из прошлого века.

– Я в этом мало что смыслю.

– А я покажу, покажу... Смотри, вот твой очерк... На полосу?

– Меньше. Но еще добавим картинки... И портрет Леонида Ивановича...

– Значит, полоса. А дальше, смотри, на развороте: сюда бросим пару-тройку стишат – у Бори Чернова юбилей, надо отметить... здесь колонка новостей “Город искусств”, как всегда... сюда спортивный... завалилась зарисовочка о пловчихе. Вниз – Колин фотоэтиюд, неплохой – осень. В центр мы поставим... поставим...

– Что?

– Да вот, понимаешь, – нечего. Хоть убейся – нечего.

– А я тут при чем, Паша?

Он задирает голову и глядит молча. И тут я не выдерживаю: все прежние обиды захлестывают, вся накопившаяся день за днем усталость... Не раздражение, не злость, а прямо злоба раздавливает грудь, мне нечем дышать, я сейчас... ударю его, ударю...

– Опять? – шепчу я. – Да ты что? Ты в своем уме? Вымогатель... – шепчу я и иду к себе.

Паша вскакивает, идет за мной следом, закрывает за собой дверь и стоит

на нечищенной дорожке, в клубах ползущего из окна тумана. Он ждет. И дожидается.

– Зверь! – кричу я, задыхаясь, ударяю кулаками по столу, даже приподнимаюсь со стула и наваливаюсь всем телом, чтобы громче. Лежащая на столе створка раковины с воткнутой свечой подскакивает, слетает на пол, свеча вываливается, застывшие капли стеарина разлетаются по полу. – Варвар! – вижу я и смотрю, как Паша наклоняется, поднимает раковину, свечу, кладет все это на дальний стул. Потом опять отходит на середину комнаты – опустил голову и глядит на меня без всякого выражения. – Чего ты от меня хочешь, Паша? – спрашиваю я тише, чувствуя, что сейчас обрушатся слезы и станет еще тяжелее. – У тебя совесть есть? Я тебе столько всего сдала на этой неделе! Разворот об Оперном – раз! Репортаж с олимпиады физиков – два! Еще один – с книжной ярмарки! Кроме того – рецензию, кроме того – проблемное интервью, кроме того – литературную страницу, кроме того – сотню новостей... Почему тебе всё мало и мало?

– Разворот об Оперном лежит – ждем открытия сезона. Рецензия вышла. Интервью будет завтра, новости, литстраница и репортажи идут в субботу...

Паша послушно рапортует, а я все это и без него знаю, но что мне делать, если сил нет, а дырка в воскресном выпуске действительно есть.

Мне обидно за только что написанный очерк, так хотелось, чтобы Паша прочел его не торопясь, зашел потом ко мне, сказал:

– Ну, Заяц, молодец, умеешь еще кое-что...

А он еще и не читал, а уже требует новые строчки.

– Вымогатель.

И тут мне становится обидно за Пашу: как будто это не я орала на него только что, а кто-то другой, посторонний, чужой, не понимающий, как ему приходится... С утра до вечера ходи, унижайся, выслушивай всякое, не глядя хватай всё, что принесут, – потому что рад каждому десятку строк, когда так вот поджимает! И чего ради? Он – ответственный секретарь, как главный инженер на заводе, но бегают, хватая за полы каждого репортеришку: строчки, строчки!

Жалость опутывает меня, я барахтаюсь в ней, но в остатках злости говорю Паше:

– Ты шляешься весь день ко мне, потому что я рядом. К Газиму добегался, он закрываться стал. А внизу сколько гавриков сидят? Всех потревожь, что ты ко мне привязался. Я без обеда по твоей милос-

ти, а внизу весь день бегают пиво пить.

– Ну, знаешь, могла бы и пообедать, кто тебе мешал? Поменьше посетителей принимай... Пользы от них!.. Только и могут – глаза пилить да анекдоты травить.

– Ах, вон оно что!

– Да, – говорит Паша, краснеет и выходит из себя. – Ты хочешь и светские беседы вести, и работать только по настроению. Аристократка! А ты засучи рукава да попиши эту обязательную муть на первую полосу, да побегай за рекламой – тогда узнаешь, какой бывает кусок хлеба! Нашла кому завидовать – отделу рекламы! Да ребята все наши деньги делают, видела бы ты и зарплату, и гонорар, если бы они рекламу не добывали! Они тебя кормят, а ты их пивом попрекаешь. Между прочим, внизу и твои красавцы сидят, чем они там занимаются? Как ты ими руководишь? Заставь парней работать! А ты и тут чистенькой хочешь быть – меня к ним посылаешь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я заплакала, хлюпала носом от стыда и жалости. Мне всех было жалко. Весь белый свет. Себя, усталую, постаревшую, а теперь еще и истеричку... мою бедную заброшенную семью – вон сын уже полмесьца в школу ходит, а мне некогда даже спросить его толком... все переложила на Серегу, он Ромку и в школу отводит, и обедом кормит... Было жалко Пашу, Газима и ребят из отдела рекламы... и правда, носятся по городу, висят на телефонах – ради никчемной, надоевшей всем рекламы... И читателей было жалко – ведь им ежедневно приходится читать то, что с таким трудом и нервотрепкой ложится на полосы...

Я плакала, пока не пришла тетя Маруся с красной щеткой. Сметая осколки стеарина, спросила:

– Случилось что?

– Да устала я, тетя Маруся. День такой...

– Как не устать! Тяжелый у вас труд, вон какой тяжелый... Зря хлеб не едите... С людьми говорите – маетесь, пишете – маетесь. Опять же, и потом, видно, не сладко. Я сейчас только от Павла Николаевича... по телефону, слышала, говорит, что-то не так напечатали. Опять же неприятность...

Что там стряслось? Пойти спросить у Паши? Но тут телефон зазвонил, и Майя, наш библиотекарь, позвала пить чай. Я и правда голодная была. Чтоб не стыдно зареванной на улицу выйти, подпудрилась, зашла в супермаркет – за печеньем к чаю. Вхожу в редакционную библиотеку – там полный девичник

– Третий раз гоняем чаек, и всё без тебя, – говорит Майя. – Павел запретил

тебе звонить, чтоб не мешали работать. Он сегодня – ух, как строг!

Опять двадцать пять – это уже похоже на осаду.

– Что у вас? – спрашиваю Майю. – Прямо запряглась – и с людьми некогда поговорить.

– Да я уж тут девчонкам рассказывала, что мои клуши вчера устроили. – Майя говорит, а сама подходит к стеллажу, отодвигает книжки и достает с полки блюдо, накрытое салфеткой. – Брось ту покупную дрянь, попробуй это, мы тебе оставили.

И я вижу кусок домашнего «Наполеона», коржей этак на двенадцать, желтеющий заварным кремом, посыпанный мелко тертой крошкой, – умереть, не встать! Даже не верится, что такое чудо может быть в этот проклятый четверг.

– Ничего себе, Майя!

Я представляю Майину теперешнюю жизнь: два внука в доме и две семьи – сына и дочки. Клубок страстей. До тортов ли?

– Вот я и рассказываю: подрались мои девки вчера на кухне. Я уж их стыдила потом, особенно дочку. Ну, пусть невестка, чужая кровь, Бог знает какое воспитание, но ты, говорю ей, моя кровиночка, ты почему такая злая?

– И что – буквально? Подрались?

– Еще как вцепились друг в дружку! И было б из-за чего! Ты только послушай! Заспорили о борще: одна говорит, сейчас модный красный борщ, другая – нет, оранжевый. Представляешь из-за чего? Ну что ж это такое? Выгнала я их из кухни, нареvelась властью, а потом давай стряпать, поить их чаем и мирить. Помирились...

– Тогда я оставлю кусочек Паше, может, и мы помиримся...

Майя засмеялась:

– Ешь, чего там! Вы с ним и так помиритесь. Ну, а дома как?

– Да так же. Забыла, когда с сыном общалась. Вижу его только в кровати. Он целиком, считай, на Сереге и школьной продленке.

– А Сергей что?

– Да как обычно. Грыземся потихоньку.

– Так не грызитесь, – внимательно глядя на меня, говорит Майя. – Попридержи-ка лошадей, девка, пока не поздно. Твой Сергей и так всё терпит.

– Что уж он там терпит!

– Сама знаешь, что. Или мне подсказать?

Я молчу, пью чай, доедаю «Наполеон». Девичник потихоньку рассасывается – все-таки рабочий день. Мы остаемся одни с Майей.

– Сергею твоему не позавидуешь... – опять провоцирует меня Майя.

– О чем вы?

– Да ладно, не притворяйся. Всё всем известно.

– Что известно? Что всем известно?!

Ничего себе! Я еще ничего толком не знаю, ни в чем не разобралась – а им уже все известно!

– Не вовремя ты это завела... этот служебный роман... не вовремя.

Майя все-таки деликатничает, подбирает слова, и я понимаю, что на этот раз разговора с ней не избежать.

– А разве такое бывает с кем-то вовремя?..

– В жизни всякое бывает... Тут сургулом не запечатаешь... Но ты все-таки влезаешь в историю так... сгоряча, не подумав. Не стоит он того, тебе всякий скажет, не стоит... И Сергея не пожалела... На терпеливом ездись, так хоть не погоняй. Извини, может, грубо я тебе, но уж как сказалось.

– Да-а, распустилась ты у нас, Ляксандра, вконец распустилась – так ваши слова понимать надо, Майя?

– Может, и так, – говорит она. – Да ты не сердись, лучше подумай хорошенько... пока твоего дружка рядом нет. Надолго он укатил-то?

– Кто его знает. Может, на месяц. Или на два... Или навсегда...

– Ну, не горюй... Считай, что тебе дан срок всё обмозговать. За месяц и зеленый плод созревает.

– Ладно. Исправлюсь. А пока иду мириться с Павлом Николаевичем. За торт спасибо, Майя, классный получился!

Едва успеваю войти к себе, как звонит Паша, и я через стенку слышу те же интонации, что и в трубке, но в трубке, кроме интонаций, слышу еще и слова.

– Красавица, – говорит Паша, – вы уже выплакались, напились чаю, посудачили. Чего еще вам надобно для полного счастья?

– Что тебе до моего счастья, Паша? – говорю я скромно в трубку. – Что тебе до моей души?

– Не скажи, не скажи... очень даже...

– Тебе этого не понять... Я хоть на полчаса почувствовала себя женщиной...

– Ну, совсем другое дело, слышу живую вашу речь, мадам. Тем более что вы еще кое на что способны... Имею в виду творчество, разумеется.

– Да ладно тебе.

– Нет, без шуток. Написала хорошую вещь. Старик будет счастлив. О нем так никто никогда не говорил.

– Прочитай все-таки?

– А как же! Слушай, Заяц, сделай еще что-нибудь в этом роде и поезжай домой. Отдохни, накорми семью ужином, посмот-

ри телевизор... Как все нормальные люди... Чего ты тут сидишь, мучаешься? Возьми себя в руки, тебе двух часов хватит для двухсот строк. А мне больше и не надо. И в шесть вечера ты будешь уже дома.

– Что ты, Паша, так мягко стелешь?

– Хочу тебе добра. Я ведь вижу, как ты издергалась.

– Что все-таки случилось? После рецензии? Знаешь хоть что-то об этом?

Паша мнется, потом говорит строго:

– А собственно, чего ты ждала, когда писала? Что главреж выразит тебе благодарность? Размазала по стенке его спектакль и надеешься на покой и счастье?

– Я надеюсь на повышенный гонорар.

Паша смеется:

– Это я тебе почти гарантирую. Даже если шеф будет против.

– Счастлива твоим «за». Начинаю работать.

Я, действительно, достаю несколько блокнотов, исписанных во время встреч с людьми – мой маленький архив, «архив рабочего стола», моя палочка-выручалочка. Роюсь наобум – в поисках неизвестно каких впечатлений. А и правда, что меня сейчас сможет задеть за живое? Чья-то любовь? Тревоги? Яркая чья-то судьба? Не знаю, не знаю... На душе смутно, неуютно... Ой, как неуютно! Как пишет иногда уехавший в даль товарищ: «*Мне надо согреться хотя бы о твою прохладу...*» Бог мой, а как хочется мне сегодня тепла! Но день холодит, холодит и тянется, тянется – какой-то заколдованный четверг, ни конца ему ни края...

Но, как говорит Евдокия Васильевна:

– Не времячко погоняй – дела.

Так что ищи, Заяц, себе дело, ищи. На ближайšie два часа. На скорейšie двести строк.

А театр молчит. Почему? Такая там буря, что не до меня? Лучше бы позвонили уж да выругали... Хоть на каком-то фронте была бы ясность...

И стоило так подумать, как раздался звонок.

– Это ты? – узнаю я голос Риммы, завлита драмтеатра. – Весь день хочу тебе звякнуть, да не решаюсь. Павел Николаевич попросил не тревожить тебя, у тебя трудный день сегодня...

Надо бы уже не реагировать. Привыкнуть за день к новой Пашиной политике.

– Вишь, какой он заботливый, наш Павел Николаевич... – говорю я. – Ну, да, кажется, уже разбросалась... Давай выкладывай, что там у вас?

– Боже мой, Боже мой, – начинает причитать Римма, – что делается, что делается!.. Шуму-у!..

– И Викентьев тоже шумит?

– С ним как раз шок. Ходит и молчит. Главреж звал его с собой в департамент, для моральной поддержки, но Викентьев не пошел. Все-таки молодчина, да?

– Главреж отправился жаловаться?

– Конечно. Кричал, что сотрет тебя в порошок.

– А что ты думаешь? И сотрет. И развеет по ветру.

Римма засмеялась.

– Не волнуйся. В театре большинство за тебя. Многих еще на репетициях трясло от этой мерзости. Но ты же знаешь – всё на потребу дня. А потреба эта – деньги. Как и всюду... Нет, ты не волнуйся. Большинство с тобой согласна.

– Но это большинство не побегало в департамент. Там даже не подозревают, что такое большинство существует.

Римма помолчала.

Сколько раз я себе говорила: не пиши о театре, а если пишешь, то не критикуй, а если критикуешь, то не за самое главное... Можно ведь пробежаться по пустыкам... и все довольны... О Господи, сколько раз одно и то же! Но жалко, жалко «Вишневы сад»! Было б хоть что-то другое...

– Крицкий, этот простачок несчастный, у тебя уже был? Руки целовал? – спрашивает Римма после паузы.

– Нет еще.

– Ну, значит, жди. Он на десятом небе. Уж ты не пожалела для него похвал!..

– За дело, Римма. Ты сама видела, что это был за Фирс!

– Но ты же знаешь, Крицкого в театре не любят. Все считают, что и хвалить его не стоит.

– Он удержался в этом спектакле... всех подмяли... согнули... он, может, один и устоял только... Разве нет, Римма?

– Крицкий такой тяжелый человек... Такой мелочный придира... Такой скандалист... Всем надоел... Всех против себя настроил... У него черная аура... Он создает атмосферу...

– Римма, какое мне дело до этого? Я зритель, в конце-то концов. Пришла смотреть спектакль... Что мне до ваших закулисных аур, атмосфер?.. Есть сцена, есть актер, есть игра...

– Представь, у тебя было бы больше сторонников, если бы ты его так не хвалила.

– Сторонников!.. Я что – кандидат в депутаты? И мне нужны сторонники любовью ценной?

В дверь заглянул Паша.

– Идем к редактору.

И тут началось, думаю я. Паша идет рядом, помалкивает.

Редактор бледнее обычного, пухлые губы дрожат. На меня не смотрит, значит, сердится именно на меня. Зато я гляжу на него во все глаза: красивый мужик! Правда, чересчур пухлые губы, но красивый. Не то что Пашка рядом сидит: голову опустил, щеки отвисли, патлы торчат. Впрочем, Паша тоже красавец был, похлеще редактора, да постарел за эти годы, поизносился, измучился тут с нами.

– Большие неприятности, товарищи, – говорит редактор. – В театре возмущены рецензией.

– Вестимо, – говорит Паша. – Кому ж понравится, когда ругают?

– Ругать можно по-разному. У Александры Михайловны... – Шеф взглядывает на меня и почему-то теряется, видимо, не ожидал того восхищения, с каким я на него гляжу. – Мы все ценим вас, – перестраивает редактор тон и откидывается на спинку кресла, – но на этот раз вы слишком... слишком размашисто написали. Публично отхлестали уважаемых людей.

– Такой жанр, – миролюбиво говорю я. – Рецензия – не сонет.

– Я понимаю. Более того, я во многом с вами согласен. Я тоже присутствовал на премьере. Порой неловко было смотреть на сцену... Да-да, спектакль вполне несовершенный... будирует совсем не то, что нужно... Но главный режиссер утверждает, что это его новое слово в искусстве... новая... парадигма... что это – веха в его биографии...

– Я не писала биографию главрежа. Это отклик на премьерный спектакль...

– Тут имеется и мое упущение как редактора. Надо было еще подумать, посоветоваться, прежде чем публиковать. Все надо было взвесить. Нельзя будировать общественное мнение – вот просто так... Я передоверился... – Шеф укоризненно смотрит на Пашу.

Паша – опасный человек. Он сникает-сникает, морщится-морщится, а потом как взвьется в непредсказуемый миг – и пиши пропало, скандалы будут сотрясать редакцию несколько дней. Нет, лучше до такого не доводить.

– Вы всегда настаивали, чтобы рецензии появлялись сразу после премьеры. Я очень старалась не задержать, а оказывается, в этом мой главный просчет.

– Нет-нет... – отступает редактор, – но зачем вы так хлестко? Вот и о Викентьеве... Все-таки – ведущий актер, заслуженный...

– Кстати, Викентьев не жалуется. А главреж – человек новый в городе, он просто еще не сориентировался. Видимо, думал, что в провинции могут только петь дифирамбы – как обычно на гастролях столичных театров. Он ведь к этому при-

вык? Но наш театр не на гастролях, не в гостях, он у себя дома, мы его любим... Но не замалчивать же... Тем более что это классика... да еще, оказывается, этапный спектакль! Мы должны относиться серьезно, требовательно...

– Да-да, это так... – Редактор кивает, и даже тень удовлетворения пронесится на его лице, но тут же спохватывается: – И все-таки... я обещал... Мы должны исправить эту ошибку... ну, вашу слишком жесткую критику...

– Воля ваша, – говорю я спокойно, как только могу. – Воля ваша, вы редактор. Если вы сочтете, что допущена ошибка, накажите меня.

– Не об этой речи: не о наказании, Александры Михайловна. Я обещал, что мы что-нибудь придумаем... Чтобы реабилитировать главного режиссера. Может, сделаете с ним хорошее интервью? Пусть он расскажет о работе над «Вишневым садом», о своем новом взгляде на Чехова... Seriously подойдите к этому вопросу... И сделайте как можно быстрее... Это моя просьба к вам.

– Знаете, дорогой наш редактор, – говорю я еще спокойнее, так что лицо у меня холодеет, а в груди клокочет; тут я чувствую, что сидящий рядом Паша толкает меня кулаком в спину, и останавливаюсь; я долго гляжу на редактора, вижу, что лицо его повернуто ко мне, но выражения на этом лице не различаю, оно как-то отдалилось, отплыло вдаль; я долго молчу, пока наконец не ощущаю тепло, приливающее к щекам, тогда нормальным голосом говорю: – На дворе осень, слава Богу, это как раз то, что я люблю. Отправьте меня в отпуск, и поскорее, пожалуйста. Я устала от этой канители, сколько можно? А реабилитирующее интервью делайте, пожалуйста, без меня. Так будет пристойнее.

Паша задерживается смягчать и улаживать, а я выхожу и заглядываю по дороге в отдел к Коле Мокрецову, чтоб услышать пару анекдотов – надо развеять смуту на душе, а анекдоты у нас умеют рассказывать только Мокрецов да зам Усатый.

Мокрецов занят, но уйти не велит, машет рукой:

– Посиди, мать, осталось две строчки...

Он пишет еще полстраницы, хватаясь то за ручку, то за сигарету, потому что левой рукой подпирает голову. В комнате накурено, пусто, как-то по-мужски неуютно, кроме стульев и стола с кипами бумаг, ничего нет. Взъерошенный Мокрецов бойко скрипит пером – он, как и Паша, не терпит шариковые ручки, и ему, как и Паше, мы всегда знаем, что дарить в день

рождения. Одним из наших подарков он и скрипит сейчас, подпирая голову и щурясь от дыма. Вот бойкое перо, а башка вечно в шишках...

Тут Коля Мокрецов ставит жирную точку, прямо рисует ее, разрисовывает, поднимает смеющиеся глаза и начинает рассказывать анекдот, – видно, он вспомнил его, пока рисовал точку.

– Как-то раз привели к чапаевцам осла, но никто не знал, что это осел. Бойцы говорят: «Надо Василия Ивановича спросить, он паровозы видел». Пришел Василий Иванович, походил вокруг осла и говорит: «Да-а, если судить по ушам, этому зайцу наверняка лет двести».

Глаза у Коли Мокрецова не косят. Странно, сейчас бы как раз и косить, так нет. Никак не пойму этой закономерности в поведении его глаз.

– Детский анекдот. И ты впадаешь в детство?

– А кто еще?

– Газим со своим тотализатором.

– Ага, ему Коля Важин сегодня спорил. Не знаешь, не бутылку? А то можно наведаться... Так говоришь, детский анекдот? Зайцева, оказывается, любит погорячей? С некоторых пор, да, Зайцева?

– На что намекаем?

– Да нет, я не намекаю. Я что – я ничего... Живи как хочешь. Ты у нас уже взросленькая... А вот этот как тебе? «Я мечтаю одним выстрелом убить двух зайцев», – говорит одна девушка другой. – «Что ты имеешь в виду?» – уточняет подруга.

Мокрецов делает впечатляющую паузу, а я досказываю за него:

– «Хочу выйти замуж за миллионера по любви».

Коля Мокрецов очень удивляется.

– Не понял, Зайцева... Ты знаешь анекдот?... Сроду не запоминала...

– Всё течет...

– Только этот знаешь или еще какой один? Например, такой, а? Встретились два друга. Один говорит: «Знаешь, в нашем городе есть ресторан. Ужин бесплатно, выпивка бесплатно, танцы до упаду, номер на ночь. И всё на халяву! Утром подвозят на такси до дома и еще «зеленьку» дают». – «А ты что, был там?»

Мокрецов опять делает паузу, теперь уже нарочито-выжидательную. Я продолжаю анекдот:

– «Нет, мне жена рассказала, она...»

– Постой, постой, – перебивает он меня, – что случилось? Еще вчера ты была неспособна запомнить хоть что-то... или ты придурилась?..

– Вчера было вчера, Коля...

– Нет, ты меня, мать, завела всерьез! А ну такой... Один джентельмен говорит

другому: «Идет сильный дождь, а моя жена пошла гулять без зонта». – «Ничего страшного, она укроется от дождя в каком-нибудь магазине»...

– Всё, Коля, я пас. Больше ни единого не знаю.

– Фу! А то я уже запаниковал... С самого утра прёт всякая чертовщина... День такой, что ли? А тут ты еще...

– Да ладно, не переживай. Твои лавры – при тебе. Слышь, Коля, а ты заметил, что анекдоты последнее время... не того... Или старые, или никакие... Может, это на мой взгляд дилетанта?

– Что есть, то есть, – обтекаемо отвечает Коля Мокрецов.

Мне не ясно, к чему это относится: к анекдотам или к моим познаниям, но я не уточняю.

– Что, Коля, пишешь?

Мокрецов на мгновение становится серьезным.

– Хочешь – почитаю? Несколько моментов...

Он – экономический обозреватель. Обзоры у него всегда были толковые, а по нашим временам – и смелые. «Расстрельные обзоры», – шутит он сам. Печатают его редко, к этому он, кажется, начинает привыкать.

Судя по прочитанным моментам, и сегодняшний обзор – из таких, из «расстрельных»: повышение цен на бензин. Цифры – убийственные.

– Доконаешь редактора, – говорю я. – Ему так хочется полного благополучия... У него такая... парадигма...

– Да пошел он!.. Пусть только пикнет – я и слушать не стану. У меня этот обзор «Коммерсант» с руками оторвет. Что ж получается? Чтобы разобраться в наших позорных делах, мы должны столичного дядю ждать? А сами – не моги? Пора, пора народ поднимать, тех же автомобилистов, например! Вон во Владике – чуть что, сразу оранжевые ленточки на ветровое стекло – и колоннами мимо краевой администрации... Действуют люди, борются...

– И бензин у них дешевлеет?

– Не знаю, – честно признается Мокрецов, – может, и нет. Но все равно, народ протестует и не чувствует себя быдлом! А мы? Мы что – хуже? Мы тоже должны!.. Мы должны, понимаешь!..

Но импульсивный Мокрецов митингует недолго. Глаза его вдруг закосили, и он приступает к следующей обойме анекдотов.

– Вовочка говорит отцу: «Тебя в школу вызывают!» – «А в чем дело?» – «Да я там бомбочку маленькую взорвал». – «Ну, если маленькую, то зачем в школу идти?» Коля умолкает и ждет. Я подсказываю:

– «Правильно, папа! Чего по развалинам ходить!»

Мокрецов чертыхается.

– Коля, этот анекдот ты недавно рассказывал.

– Не может быть. Этого не может быть. А ну вот такой...

Я выжидаю, когда он войдет в раж и потеряет бдительность, и вставляю финальную фразу. Мокрецов чуть не плачет.

– Да ты что, мать, издаваешься?

– Ты рассказывал его раз пять!

– Не может быть! Не может быть! А ну давай еще...

– Мокрецов, сдаюсь.

– Слава Богу. Я даже вспотел. Думал, совсем квалификацию потерял. – Он закуривает с явным удовольствием, потом не выдерживает и спрашивает: – Неужели я их рассказывал?

Приходится раскрыть карты.

– Не боись, Мокрецов. Это мой Серега с ума сходит. Насмотрелся по телевизору... ну, на того рыжего... который знает все анекдоты на свете и на деньги с публикой играет... Вот и Серега теперь тоже учит анекдоты. А на мне тренируется, пока я ужин готовлю.

Тут Коля Мокрецов совсем приходит в себя и начинает сыпать как из рога изобилия. У меня от хохота перехватывает дух. Поднимаются с первого этажа промышленники Коля Веревкин и Коля Важин, закуривают, дымят, становятся совсем шумно. Заходит встрепанный после беседы с шефом Паша, потом – Газим, открываем дверь, чтоб не задохнуться, дым валит в коридор. И наконец прибегает Усатый, орет:

– Не даете полосу читать, черти! Устроили здесь кавардак!

Но задерживается и добавляет пару своих историй.

Только тогда все расходятся, и я бреду к себе, писать о замечательных ребятах, как ни странно – из шоу-бизнеса.

Конечно, к шести я домой не попаду, Паша тут явно слукавил. К шести не попаду, хоть пишется и неплохо. Даже прекрасно пишется, идет как по маслу – это я себя так уговариваю, если некуда отступать. Вот как сейчас – отступить некуда. Надо разделаться с этой проклятой ненасытной «толстушкой» – и дело с концом. И можно будет забыть о газете хотя бы до завтрашнего дня.

Это желание – забыть о газете хоть на день – я замечаю и у Газима, и у Мокрецова, и у других ребят тоже. Нет его пока что только у совсем молодого и старательного Гриши – еще не сбил охотку.

Газета никогда не отпускает от себя, пока ты в ней. Боишься не успеть с материалом, или что-то напутать, или вообще

плохо написать – каких только тревог не бывает, когда идешь на задание, сидишь за компьютером, разговариваешь с людьми, отдыхаешь... Наверное, даже спишь с этой тревогой... Раньше я думала – это моя женская душа мается, взвалив на себя такое мужское дело, теперь вижу – у всех так. Вот сейчас Газим был у Мокрецова – разве таким он пришел утром на работу? Кажется, за те часы, что сидел, запершись в своем «пенале», Газим стал еще меньше, словно сморщился, словно часть жизни из него ушла. Жизни не жизни, а столько сил ушло, такая в нем теперь пустота, что он и смеялся как-то сморщенно...

А я сейчас легко пишу, славно. Стильно пишу, как говорят девчонки из рекламного отдела. У них всё – стильно: и лицо, и одежда, и душа, и... чувства. Всё, что Чехову хотелось видеть прекрасным. Чехову – прекрасным, а девчонкам из рекламы – стильным... А главрежу, прикатившему к нам зачем-то из столицы, все то, что Чехову хотелось видеть прекрасным, сегодня хочется видеть... черт знает каким. Скорее всего – денежным. Он просто из Чехова сделал свой маленький шоу-бизнес. А чего церемониться? Теперь даже из Святого Писания в цивилизованных странах делают шоу-бизнес. И предлагают посмотреть за большие деньги странам нецивилизованным... А когда те не хотят, их вычеркивают из списка очердников за благами цивилизации... Такова диалектика, такова новая парадигма, как любит выражаться наш философски настроенный шеф...

Я ловлю себя на том, что тоже, вместо щелканья по клавишам, ввала в философию. Нет, надо писать. Пусть и не очень стильно, и уж, конечно, не денежно, пусть как Бог на душу... Боюсь перечитать написанное: вдруг окажется всё не то, пусть – сразу скину. А мне надо продержаться и сделать двести строк. Всего-то.

Напишу-отшелкаю, не читая, отнесу их Паше и сразу поеду домой. В конце концов, могу я хоть после шести съесть свой обед и пообщаться с родными людьми? А пока пишу, хорошо пишу, только бы вытерпеть и не перечитать, иначе начну перedelывать, кукситься и застряну здесь до ночи.

Я заперла дверь, едва начала работать, и теперь радуюсь этому: дверь держат, но я не открываю, голоса не подаю и стараюсь не различать ничьих голосов в коридоре. Газим давно практикует эту систему – и нормально, меньше работы домой таскает. А я из-за своей светской жизни вечно здесь страдаю и дома полуночничаю...

Честно говоря, я запиралась и рань-

ше, но только в исключительных случаях – при появлении Халтурина. Уже второй год после моей статьи его снимают с работы – с поста директора школы. Но пока не сняли, тянут время: Халтурина через полгода идти на пенсию. По закону его нужно было отдать под суд, но старика пожалели. Куда и как списали его долги, растраты и прочие шалости – только департаменту по образованию и ведомо. По мне, так пусть и не снимают, человек при тих, взятки брать, я надеюсь, перестал, можно и отстать от него, но машина за-вертелась... В каких-то инстанциях ходят бумаги, выносятся решения, в других инстанциях ходят другие бумаги и выносятся решения, противоположные первым; где-то все эти бумаги встречаются, сталкиваются, потом укладываются в общие папки. Время идет, второй год человек живет под страхом снятия с директоров... И я теперь частенько думаю, что лучше бы эту статью и не публиковала.

Халтурин ходит ко мне второй год поговорить по душам. Он сильно похудел за это время, от его наглости не осталось и следа, но, несмотря на всю жалость к нему, я не выдерживаю этих душещипательных бесед и запираюсь при его появлении. Наши шутники, сидящие на первом этаже, в комнатах с окнами на улицу, иногда звонят мне и предупреждают:

– Вася Халтурин мимо окон прошел. Закрывайся.

Часто это просто розыгрыш, но иногда они говорят правду, потому я запираю дверь всякий раз – так бесконечны и тяжелы бывают для меня эти беседы с ним. Как будто я в чем-то виновата перед ним...

Однажды я как-то неудачно попыталась пошутить и спросила:

– Знаменитый террорист Халтурин – не ваш родственник?

Он вытаращил глаза.

– Нет, из моей родни в Чечне никто не воюет.

Тут уж я вытаращилась на него.

– Да нет, я о питерском террористе спросила, о давнем...

Но Халтурин обижено махнул рукой и быстренько ретировался. Так мне нечаянно открылась еще одна возможность быстро от него отделаться. На крайний случай.

Нет, тяжелый день – четверг, если я даже о Халтурине вспомнила. Скорее бы сделать дело и уехать домой.

Днем охраны у нас нет, и народ валом валит. Почему заходят в редакцию? Ну, иногда по делу, но чаще просто так. И видят, что мешают, а все равно не пройдут мимо, заглянут. Что тянет их в эти стены? И не особенно мы все тут умные и при-

ветливые, чтоб тосковать без общения с нами, но, как пишут иногда мои коллеги, факт активной посещаемости редакции налицо.

Звонит секретарша шефа. Вот еще нововведение! Сроду у редакторов не бывало секретарш. Но шеф пришел к нам из того мира, где без приемной и секретарши руководителю быть не пристало. Не солидно, не респектабельно. Какая к черту респектабельность? Мы едва выживаем, едва держимся на плаву... Однако Софья Кирилловна появилась в нашем особняке через несколько дней после смены власти и второй год занимается тем, что меняет цветы в кабинете редактора (они стоят в огромной вазе на прищипочке у французского окна, выходящего на балкон, – стало быть, наш редактор – эстет); иногда звонит сотрудникам (вот как сейчас мне), если у редактора личная просьба к человеку (все производственные контакты шефа с коллективом происходят через ответственного секретаря Пашу); ездит с шофером по мелким бытовым поручениям шефа, так что вообще частенько отсутствует в приемной, которую для нее в свое время спешно выгородили из прекрасного холла второго этажа... Но в целом, надо признаться, что Софья Кирилловна не досаждала нам, а просто и малозаметно существует в нашей среде. Малозаметно, хотя бы потому, что она немолода, с невнятным, невыразительным личиком, теряющимся среди пышных широких плеч, а ее тоже невнятные серо-русые волосы заколоты над ушами чем-то, похожим на канцелярские скрепки... И это в наше время! Когда офисы расцветают длинноногими красавицами-секретаршами, каждую из которых можно без всякой там стажировки отправлять на съемки в Голливуд!

Обсудив появление Софьи Кирилловны в наших стенах и подивившись вкусу нового редактора, мы пришли к выводу, что это родственница шефа или кого-то из руководства города, которой перед пенсией надо подзаработать стаж. И так решив, приняли ее как неизбежность и почти не замечаем ее – не из нашего недружелюбия, а из-за ее ненужности.

Софья Кирилловна говорит в трубку не очень внятно, не очень складно, но понять все же можно:

– Александра Михайловна, напоминаю... встреча у вас... Вы прочитали?... Давал Владислав Сергеевич... Сегодня приедут... Может, к вечеру... Может, днем... Вы готовы?

– Так все-таки когда: днем или к вечеру?

– Неизвестно. В течение дня.

Конец света! Именно сегодня!

– А нельзя перенести этот визит на завтра, Софья Кирилловна? Спросите об этом шефа?

– Он сказал: приедут сегодня. Что я буду спрашивать?

Да, действительно, она-то при чем?

Я лихорадочно ищу в шкафу рукопись, которую шеф дал мне читать... Когда это было? Дней десять назад? Черт, я проглядела ее тогда впопыхах, не вчитываясь, хотела вернуться к ней еще, да забыла напрочь... Что это было? Какие-то истории... романтические описания современной девушки... тусовки, ссора с любимым мальчиком, предательство подруги... много эмоций... да... и, помнится, грамотно написано... наверное, были хорошие школьные учителя у этой молодой особы... ага, ее зовут Вероника... фамилии нет... и тут коммерческая тайна?.. И что ж такая суета именно с этой рукописью? У нас в литературном клубе есть девчонки куда талантливее, а шеф почему-то ими не интересуется... Но куда задевалась эта рукопись? Уж не выбросила ли?.. С черновиками?..

В кипе черновиков, предназначенных в мусорную корзину, я и нахожу искомое – рукопись в прозрачной папочке с серебристой застежкой... Как я могла сунуть ее куда ни попадя?.. Совсем нехорошая стала, однако. Спешно пролистываю, глаз выхватывает из текста канцеляризм, вереницы ненужных прилагательных, бесчисленные «ах-ах!» Наверное, девушка очень юная и эти «ах-ах!» естественны... Но что я ей скажу? Публиковать еще рано, ругать пока не за что, попытка – и есть попытка... Еще плакать начнет... может, у нее честолюбие – выше носа... Может, ее уже убедили, что она звезда... А вот... вот... хорошо! *«Это был просто вечер. Без всяких радужных надежд. Он нравился мне тем, что был совершенно свободен...»* Молодчина, коротко и ясно... Ясно, конечно, и то, что писать ей пока еще не о чем... Она и сама это чувствует... хорошо уже то, что чувствует это... А здесь тоже неплохо! *«Февраль – очень неопределенный месяц. И никто, даже природа, не знает, что нужно делать в это время. В феврале нет ничему ни конца ни начала. Нет ни журавлей, ни ласточек. Только луна выглядывает иногда из-за охапки снега на небе. Будто подмигивает – жди, жди...»* Пытается лепить хоть какой-то сюжет, но все пока тонет в многословии, в красивостях... Ничего, потом это уйдет... позже, когда разберется... Может, из всей этой вещи останется только концовка... внезапная... строгая... как из другого мира... может, это и станет потом ее почерком...

«Привязанная к столбу, она подняла глаза. Перед ней чернело дуло.

Вверху было голубое. Как хорошо на небе!

Грудь ее разверзлась».

Да, есть за что и похвалить... только не сильно... чтоб и в самом деле не вышла из редакции звездой... Ладно, сорентируюсь по ходу дела...

Тут звонит Паша. Как это он так долго не вмешивался в мою жизнь?

– Заперлась? Забаррикадировалась?

– Приходится.

– Рожаеть?

– С трудом. И не то, что надо.

– Хочешь отвлечься? Есть кое-что почитать. Любопытно...

– Тогда не обессудь, если не успею дописать. Для тебя же стараюсь... для тебя на панцине спину гну...

– Сделай паузу – скушай «Твикс»... А вдруг со свежими силами да и поднажмешь...

– Ну, неси, что там у тебя.

Он заходит с распечаткой из Интернета.

– Почитай, почитай, тебе будет интересно.

– Я домой возьму, ладно? Некогда, в самом деле.

– Давай здесь читай. Переключись. Сдвинь мозги с мертвой точки.

– Ну разве что.

Я принимаюсь читать. Статья о происхождении русского языка, с совершенно неизвестными мне потрясающими фактами, чего стоят эти несколько славянских слов в языке уже семнадцатого века! Но автор слишком нервничает, комплексует и паясничает – читать его неприятно.

– Сплошная истерика, – говорю я, откладывая листки в сторону.

– А иди-ка ты, Зайцева... – Паша хватает распечатку, сжимает в кулаке: – Этак ты и Ваньку Жукова в истеричности обвинишь!..

Выйдя, он мерзко хлопает дверью.

Причем тут Ванька Жуков? Что-то я не поняла на этот раз Пашу. Называется, отвлек меня, сдвинул мне мозги с мертвой точки... Нет, надо объяснить.

– Я как-то не врубилась, – говорю Паше, едва переступив порог его кабинета. – Причем тут Ванька Жуков?

– Не врубилась она!.. Редкое признание с вашей стороны, драгоценная Солоха. А ты не думала, что в Интернете все немножко Ваньки Жуковы? Пишут о наболевшем, на деревню дедушке... и надеются... понимаешь, надеются, что их послание не только проглядят беглым

высокомерным взором, но и попытаются понять...

– Боже мой, как сложно, как сентиментально выражаешься, Паша... Понять, понять... А я вот не поняла...

– Куда уж там!.. Спеси в тебе много. Самости...

– Чего-чего?

– Да. Так и знай: с годами будешь мельчать, мелочиться... мозги будут вертеться только вокруг тебя самой, единственной любимой.

– Еще один прорицатель нашелся!

– А кто еще?

– Есть мудрецы на белом свете... Но у них хоть душа обо мне болит... А тебе что от меня надо, Паша?

– Перечитай статью... возьми домой... спокойно прочитай, без апломба.. Не нравятся, что она разрушает устои твоего невежества? Так ты не виновата. Мы все невежды.

– Мне не нравится форма изложения. Не люблю психопатов...

– Ха! Кто б сказал! – Паша хмыкает и продолжает назидать: – Давно заметил, что тебя раздражает Интернет, его свобода... раскованность на фоне твоей внутренней зажатости... А ты переступи через себя, переступи... Это же окно в мир, – совсем уж нравоучительно изрекает Паша. – Ты что – и в окно не смотришь, если тебе не нравится его форма?

– Да ну тебя, – говорю я лишь бы что-то сказать. – Тропарь нашелся... Ты еще возьми меня за ручку и поведи в мир знаний... Где всякие образованные, но несчастные Ваньки Жуковы изливают душу неведомо кому... И мы, эти неведомо кто...

– Как ты не понимаешь, старая ты гусыня... Этот человек... этот автор... уже свой кайф получил: когда искал, рылся, нашел, опубликовал, понимаешь?... Теперь должны кайфовать читатели. Тема интересная, ты ж не будешь с этим спорить? Она интересная для всех русскоговорящих... Люди читают, узнают новые факты – может, их от нас скрывали... А вот такой читатель, как ты, брезгливо отодвинется: видите ли, не тем тоном написано! Ну, и кто наказан? Кто остался в дураках? Нам зачем-то свободу слова дали? Это свобода не только писать, но и читать. А по-твоему, из-за такого вот чистоплюйства надо лишать себя возможности узнать что-то новое?

– Прекрасная лекция, Паша. Особенно мне понравилось про свободу слова. И к моменту. Я как раз пишу о шоу-бизнесе. И получаю кайф, выражаясь твоими

словами. И ты его получишь – при чтении. В кусты потом не полезешь? Цензора из себя корчить не будешь?..

Напрасно я так, конечно. Хотя последнее слово за мной, но напрасно. Не по адресу этот упрек. Шефу ж я такого не говорю...

Но злость уже родилась. Всё. Кончилось мое терпение. Сейчас я отгрохочу такое о шоу-бизнесе!.. Годами во мне накапливалось, годами. Сейчас выдам без всякой этой милой сентиментальности, которую только что смаковала-расписывала два часа подряд. Да простят меня и Валик, и Женечка... и ангельская солистка Виолетта тоже – я им многим обязана... они замечательные ребята... но придется написать о них в другой раз... я напишу, обязательно, но потом... Напишу, как они уцелели в этом негодном мире и какой ценой, как прошли эту жесткую дорогу, сколько было подлого, липкого...

Компьютер под моими пальцами затараторил, заспешил... Кажется, сейчас я, и вправду, бабахну такие фактики, что редактор приклеится в своем кресле. Пусть и не даст добро – пусть! Зато я, наконец, выскажусь! И пусть уж не вся страна, хотя бы город узнает, как аукаются в провинции все эти столичные штучки, вроде «Фабрики звезд»! Какой шлейф сюда к нам дотягивается...

Ведь всё почему так страшно? Да потому что привлекательно. Сверкает и привлекает... Это даже не театр, где тоже много лжи и безумия. Но в театре не крутятся такие деньги, а значит – нет и таких страстей, как в шоу-бизнесе... Шоу-бизнес – это вообще нечто – сияющая, манящая бездна, которая для многих становится бездонной клоакой. Почему же она забирает такую власть над людьми? Деньги, деньги... Нет, тут что-то сильнее денег, тут что-то уже за гранью, какое-то завораживающее миропадение, что-то не божеское, но имеющее почти такую же власть над людьми. Власть разложения...

Особенно разгуляться я не успеваю. В двери появляется голова Паши:

– Опять шеф вызывает.

– Зачем?

– Понятия не имею.

Снова плетемся с ним по коридору. Хлопают двери кабинетов, снизу тоже поднимается народ. Оказывается, общий сбор.

– Перетряска мозгов, – устало говорит Газим. – Утра ему мало.

– Это он прочитал мой обзор, – догадывается Коля Мокрецов.

Шеф придавлен, раздавлен, трагичен, руки замком на столе, гнев заполнил очи.

– Товарищи, у нас полное неблагополучие, полное, товарищи. Я собрал вас не для того, чтобы советовать, тут и советовать бессмысленно. Тут надо пресекать. После оскорбительной для театра рецензии... вызывающей рецензии на важный премьерный спектакль... после рецензии, которая уже принесла нам серьезные неприятности, я усилил контроль за готовящимися материалами. – Редактор делает паузу и все-таки несколько смягчает свой тон: – Я вынужден был усилить контроль, товарищи. – Он избегает смотреть в ту сторону, где сидит Коля Мокрецов, выходит, действительно виновник высочайшего гнева на этот раз именно Коля. – Среди других материалов, которые не вызвали у меня никаких возражений, я прочитал и экономический обзор нашего опытейшего обозревателя Николая Анатольевича Мокрецова. – Редактор размыкает наконец побелевшие пальцы, берет в руки статью и потрясает ею над головой. – Это, товарищи, мина и даже не замедленного действия, нет, подчеркиваю – мина мгновенного действия! Опубликуй мы этот обзор, уже завтра бы последовала самая кардинальная реакция руководства.

– В понедельник Штирлица повели на расстрел, – говорит Коля Мокрецов пока еще спокойно. – «Ни хрена себе, неделька начинается», – подумал Штирлиц.

– Ах, оставьте, оставьте вы свои шуточки!.. – с надрывом, не то беззгливо, не то обиженно отмахивается шеф. – Этот кабинет – не место для шуток. И не место для дискуссий. – Хотя никто из нас и не думал сейчас дискутировать. – Надо думать, товарищи, над тем, что вы пишете. В городе масса проблем экономического характера, и для недельного обзора можно найти важные, но не взрывоопасные темы. Не надо нагнетать... не надо нас будировать, не надо.

В кабинете воцаряется тишина. Видимо, все решили одновременно, что этот кабинет – теперь место тишины.

– Итак, – говорит редактор уже без надрыва (молодец, быстро справился с лишними эмоциями!), – поскольку я не могу добиться от ответственного секретаря точного доклада о воскресном номере, я вынужден опросить каждого литсотрудника, какой материал он сдает в этот номер.

Опрос он ведет по отделам, ага, значит, я буду последней, поскольку ведаю культурой и образованием. Время идет, нас в кабинете больше двадцати. С ума можно сойти! Такого еще не было! Доходит очередь до меня, я перечисляю, что именно стоит на моих полосах.

– Это всё? – спрашивает совсем успокоившийся редактор.

– Нет, – поясню я, – пишу еще небольшую проблемную статью о положении дел в шоу-бизнесе.

– Там есть проблемы? – настороженно уточняет редактор.

– Конечно. А вы разве не знаете? Это жестокий, грязный мир, с эксплуатацией, обманом, растлением... Все, что мы видим в Центре, есть и у нас... Оттуда, собственно, и идет зараза...

Редактор зеленеет, потом багровеет, внезапно переходит на крик:

– Вам мало того, что вы будируете театр и город своими рецензиями?! Теперь вы до Москвы дотянулись, уже и Москва вас не устраивает, Александра Михайловна!

– А что, кого-то в Москве хочешь лягнуть? – наклонившись ко мне, с невинным видом спрашивает Коля Веревкин.

– Нет, конечно, – так же тихо отвечаю я, – зачем она мне нужна?

Как ни странно, этот наш диалог с Колей Веревкиным помогает шефу прийти в себя. Да он у нас просто профессионал! Хоть на сцену! Как быстро умеет собраться!

– Я должен ознакомиться с вашей статьей перед публикацией, – вполне пристойным тоном говорит он. – После вашей рецензии...

– Надо так понимать, что теперь я у вас под копаком?

– Ради Бога, не сгущайте краски... Но нельзя же, чтобы редактор после каждой вашей публикации имел неприятности...

– Недопустимо, – говорю я.

– Вот видите, вы со мной уже согласны. Значит, сделайте так, чтоб меня из-за вас не вызывали на ковер.

– Ковер – это что... – задумчиво говорит Паша куда-то в пространство. – За шоу-бизнес и подстрелить могут.

Редактор на миг каменеет, во всяком случае дар речи теряет. В кабинете опять воцаряется молчание.

– Вы серьезно, Павел Николаевич? – Редактор с трудом размыкает губы.

– А что вы хотите? Это же шоу-бизнес... замес на больших деньгах... – философски отвечает Паша.

– Да-да, – почти шепчет редактор. – Да-да, вы правы, Павел Николаевич, вы правы... на больших деньгах... – Вдруг в глазах и в голосе его появляется надежда: – Но ведь стреляют обычно в журналистов... не в редакторов?..

– А Пол Хлебников? – парирует Паша. У него сегодня всё – как по нотам. Заранее, что ли, подготовился? Ну, Пашка...

– Журналисты – что? Они за псевдонимы прячутся... пойдешь узнай, кто там писал... – Паша наконец переводит глаза на редактора. – А вы у нас на виду – вон

ваша фамилия в выходных данных – крупным шрифтом – бери и стреляй. В упор.

Паша уже явно переигрывает, парни еле сдерживаются, чтобы не заржать, но шеф ничего не замечает.

– Как же так?.. Что же это такое?.. – Как будто его уже поставили к стенке и сейчас пальнут.

– А что вы хотите? – опять повторяет Паша эту фразу. – У вас вполне расстрельная должность.

Мы покидаем шефа. Он остается в полном отчаянии и одиночестве. В коридоре парни выговаривают Паше:

– Тебе шуточки, а он завтра охрану для себя потребует за счет редакции.

– И броневик, – добавляет Коля Вевркин.

– Да я и сам не ожидал, – оправдывается Паша. – Кто ж знал, что у мужика – ни капли юмора.

...Иду к себе и опять прилипаю к стеклу окна, за которым только наш дворик и стая гуляющих воробьев. Да что ж это? Что это за день сегодня? Все поучают, все ругают, все чего-то от меня требуют. Теперь еще и контроль. Не хочу, не хочу... Не хочу быть зажатой и подневольной, не хочу жить по указке, не хочу газет, редакций, интернетов, друзей, читателей, собеседников, обиженных и воспетых... Все надоело, от всего идет кругом голова... Хочу на Енисей, в пустыню, на утес, в океан – какая разница? – лишь бы с тем, далеким, уехавшим, звонящим и говорящим глупости, от которых щемит, разламывается и расцветает душа... Да, да! Разламывается на куски, рассыпается в прах – и все-таки цветет... волшебством, свободой, нежностью... и я – ничтожная, ничемная, глупая, ни о чем не думающая и про все забывшая... я нравлюсь себе такая и счастлива, счастлива, счастлива...

«Родная, не забывай, разлук в нашей жизни больше, чем прощаний... Думай о другом: чем дольше разлука, тем ближе встреча...»

Я это знаю, чувствую, и жду, жду этой встречи... или хотя бы звонка... нет, жду его самого...

– Здравствуй, Гаврош, – вслед за раздавшимся звонком слышу я в трубке, – здравствуй, малыш, здравствуй, зайчишка... как ты там без меня? Я отправил тебе с десятка писем, исписал кучу записных книжек сплошными глупостями, ты уж не сердись, когда будешь читать... а потом мне всё надоело, и тусовки, и футболисты, и чиновники, и вообще вся эта шушера, в которую я сдуру вляпался, ты была сто раз права, когда предупреждала... я затосковал здесь, в этой неволе, она еще пуще прежней... затосковал, надрался до

чертиков, сел в вертолет – здесь удивительные люди, скажешь им: возьмите с собой, и они говорят: садись, парень, полетим на Тунгуску... Представляешь, я проснулся сегодня на Тунгуске, думал, замучают комары, в тут уже снег, и ты мне снилась на рассвете, и шел снег, и мы барахтались в снегу – и я думал, это сон, а это всё – в самом деле, и ты была рядом, я это точно знаю, уж не представляю, каким образом тебе это удалось, но ты была со мной, в снегу, мы целовались... помнишь, как мы целуемся, не забыла?.. потом уже только умереть... – так ты всегда говоришь в этот миг... и никого вокруг не было... ты, я, тайга, снег шел и почему-то шумел, может, в хвое сосен... где-то рядом была Тунгуска, но я ее еще не видел, потому что мы были с тобой... и совсем не хотелось просыпаться... как летом в степи, помнишь... нам тоже не хотелось просыпаться... пока нас не разбудили кузнечики... помнишь?.. А сейчас здесь вечер... звезды... снег потихоньку тает... цивилизации никакой, даже негде подзарядить мобильник... вертолетчики заберут меня через несколько дней, если будет погода, а пока я осматривать... может, пора ставить чум да забирать тебя... да иди на охоту... да валить зверя... Зайчишками промышлять не буду из принципа... Мобильник сейчас, кажется, совсем сдохнет... подозрительно булькает... не могла бы ты и этой ночью повторить свой фокус и оказаться тут... ничего, что снега почти не осталось... мы найдем чем заняться...

Голос пропадает, а я все вслушиваюсь в пиканье, треск, какую-то далекую звуковую шелуху, как будто атмосфера, или расстояние, или само время счищает с себя что-то лишнее...

В таком виде меня и находит Паша:

– Тебя шеф хочет видеть... кто-то там приехал...

О Господи, таки явились... Почти с болью отрываю от уха шумящую, потрескивающую трубку.

...У шефа трое гостей: мужик, крутой, как будто взят из какого-нибудь российского сериала, где он обязательно играл бы роль охранника; строгая высокая женщина, хорошо одетая, но слишком надменная, значит, сильно от кого-то зависящая – свободные люди не изображают такую строгость и надменность, и девушка лет семнадцати, очень красивая, но уже размалеванная – в семнадцать можно и не гримировать себя до такой степени.

Шеф – весь из себя: раздумячился, говорливый, сияет глазами, улыбками и еще черт знает чем, может, начищенной до блеска печенкой...

– Вот, Александра Михайловна, передаю в ваши руки это юное дарование... Побеседуйте, поддержите – вы это умеете... Вероника хотела бы издать свою первую книжку. Помогите ей... я обещал, что мы ей поможем... Я вас покину, располагайтесь, здесь вам будет удобно... Софья Кирилловна подаст вам чай...

– Нет, спасибо, мы пойдем ко мне и поговорим там с текстом в руках.

Строгая дама недовольно морщится, мужчина остается безучастным, редактор разводит руками:

– Я хотел, как лучше. Вероника очень волнуется... прошу вас, Александра Михайловна... дорогая... прошу вас... вы с ней помягче...

– Ничего, ничего, пусть привыкает... Критика – дело полезное. За одного битого... Пойдемте...

Мы гуском идем в мой кабинет. Мужчина остается в коридоре и занимает позицию напротив двери, облокотившись о перила лестницы. Видимо, это и в самом деле охранник – так сказать, всамделишный, не киношный.

Я раскладываю на столе рукопись, Вероника, увидев мои пометки на полях, напрягается, а дама ест меня строгими глазами. С первого же мгновения она меня раздражает, эта бонна, или гувернантка, или компаньонка – кто бы она ни была, она явно здесь лишняя. Надо бы выставить ее в коридор, к охраннику, да жалко шефа. Не стоит усложнять ему жизнь еще и этим, у него тоже сегодня трудный день...

– Вероника, представь себе, что литература – это... карнавал... здесь все меняются, передеваются, прячут лица под масками... Все ведут себя как-то странно, необычно... И ты туда собралась... отметиться... потусоваться...

Тут я вижу, как опять морщится бонна, и спрашиваю:

– Ничего, что я тебя на «ты»?

– Да, да, это нормально.

Девочка чуть-чуть расслабляется, а бонна поджигает губы. Ну, и парочка! Прямо-таки день и ночь, янь и инь...

– ...и ты собралась в маскарад, и придумала совершенно фантастический костюм, и решила шить его сама... Но ты ведь шить не умеешь?

– Нет, совершенно.

– И все-таки ты его сшила. Кое-как: нитки висят, рукав торчит, пуговицы не на месте... А ты приходишь в зал, на карнавал, и ко всем пристаешь: видите, какой у меня костюм!.. А люди видят, что плохо... Так зачем?..

– Да, зачем она будет его шить? – строго спрашивает у меня бонна.

Я молчу, а девочка говорит, заглядывая мне в глаза:

– Но ведь я хотела сама... так... как мне хотелось...

– И это очень важно, что ты хотела сама... и попробовала сама... Но надо еще уметь, правда? Значит, надо учиться.

– А вы могли бы меня научить?

– Моей жизни не хватит...

– Другие же пишут... издают книги... кто-то их учит?..

– Каждый осваивает это дело сам... нет, я не права... учителя есть, конечно, – наставники... но прежде всего – сам...

– А с чего начать?

– Даже не знаю. Давай подумаем вместе. Я продолжу про карнавал. Там была еще другая девушка... Она не стала фантазировать. Сшила себе скромное платьице, но очень старательно, аккуратно... Как ты думаешь, что лучше – как у тебя или как у нее?

– Наверное, как у нее... – помолчав, с горечью говорит девочка. – Она же сумела...

– Нет, и то, и другое плохо. У тебя есть фантазия, нет умения, у нее есть кое-какое умение, но нет воображения...

– А надо и то, и другое?

– Да, обязательно.

– А что важнее?

– Наверное, воображение. Оно сродни таланту.

– И оно у меня есть?

– Да.

– Но книжку издавать нельзя?

– Не стоит. Пока не стоит. Зачем тебе показываться на людях неряхой и неумехой?

– Вы могли бы подправить. Выправить. Помочь. Вам за это заплатят, – вмешивается со своей стороны бонна.

Наверное, ее так инструктировали. Девочка понимает всё быстрее и точнее.

– Надо много читать, да? Так говорит учительница по литературе.

– Она права. Читать нужно много и только очень хорошие книги. Самые лучшие. А еще изучать язык.

– Вероника занимается английским, – почти возмущенно говорит бонна.

– Прекрасно. Но русским – в первую очередь. Я тебе тут кое-что подчеркнула... где совсем плохо... фальшиво... ненатурально... Удачные места я тоже отметила...

– А что значит – удачно?

– Точно, выразительно... не обязательно красиво... важнее – точно для характера героини, для ее настроения... Постепенно ты это поймешь...

И тут мне становится ее жалко по-настоящему. Удивительно, как вообще у нее

выжило воображение?.. Возят в школу, по магазинам... еще куда? Подрастет – станут вывозит на элитные тусовки, к таким же, как она... орхидеям, что ли... О чем фантазировать, о чем мечтать?.. Всё есть, всё доступно... Только и остается, что томиться придуманной любовью... А кого любить? Тусовочного мальчика? Охранника?.. Бедный ребенок...

– Приезжай в следующую среду, к шести вечера. У нас будет литературный клуб... Там разные люди, все что-то пишут, читают, обсуждают... спорят...

– Зачем ей это? – спрашивает бонна.

– Все пишущие с этого начинают... школьный кружок, а потом литературное объединение, литклуб... надо общаться... обязательно... У девочки, наверное, мало контактов с людьми? Ну ничего, после школы будет больше свободы...

– Она поедет учиться за границу.

– И там есть жизнь. Будет присматриваться, наблюдать, взростеть... А может, придут другие интересы...

– Я без этого не могу, – говорит Вероника, как-то вся подавшись ко мне, будто боясь, что я не расслышу, или не пойму, или не поверю ей, – мне не интересно жить, если я не пишу...

Бонна демонстративно смотрит на часы и поднимается.

– Вероника, мы опаздываем в бассейн.

– Приезжай в среду, прямо сюда, ко мне, я познакомлю тебя с твоими сверстниками. Мы еще поговорим о твоей рукописи... а пока ты подумай над моими пометками на полях... Звони, если захочешь... когда захочешь... понимаешь... когда захочешь... вот телефон...

Девочка явно устала, наверное, огорчена, но крепится, виду не показывает. Бог знает, что там у нее дома – есть ли с кем поговорить?.. Или одни надсмотрщики?.. Может, родители воспринимают ее стремление писать как нелепый каприз, может, стесняются дочкиных опусов, боятся их?.. Надо было с ней помягче, поделikatнее... Но ведь это так серьезно... так тяжело – писать... Она должна знать с самого начала... должна быть готова к этому... без иллюзий... и так живет в мире иллюзий...

Я еще терзаюсь сомнениями, вспоминая ее упрямый взгляд, настойчивость вопросов, но голова Паши в дверях опять возвращает меня к действительности.

– На летучку к редактору.

Что такое опять? Что за аврал? Когда это кончится?! Ничего не дают сделать... все сегодня как сговорились... шеф – как с цепи сорвался... Что за день!

– Мы очень плохо работаем, товарищи, – говорит редактор. – Очень непе-

ративно. В городе происходят события, а мы ничего о них не знаем. И наши читатели тоже... ничего вовремя не могут узнать о происходящем. Не забывайте, их тысячи и тысячи – наших читателей. Они нам доверяют, они подписываются на нашу газету, они покупают ее в киосках. Они хотят всё знать о родном городе. И они надеются на нас, товарищи.

Шеф переводит дух и смотрит на всех нас сразу. Это значит, что конкретно виноватого среди нас в данный момент нет. Получается, виноваты мы все. И все мы сидим молча, как загипнотизированные его речью.

– Товарищи, нам о наших ошибках постоянно подсказывают сверху. И мы должны прислушиваться. И не только. Мы должны руководствоваться этими указаниями.

– Подсказками сверху? – наивно уточняет Коля Веревкин.

– Прошу внимания, – зыркает на него редактор. – Мы должны не только руководствоваться подсказками... – Шеф явно сбивается и опять зыркает негодующе на Колю Веревкина. – Мы должны не только руководствоваться указаниями сверху, но и мгновенно реагировать на них своими делами. Кто из вас слышал, что девушка спасла тонувшего мальчика?

– Я думал, шлюзы прорвало, – шепчет Коля Важин.

– Прошу внимания! – опять строжится шеф. – Я пообещал, что мы сразу откликнемся на это событие. Надо сегодня же разыскать девушку и написать о ней в номер.

– Седьмой час, – смотрит Паша на часы.

– Мы – журналисты, мы – газетчики. У нас ненормированный рабочий день.

– И жизнь, – добавляет Коля Веревкин.

– И выпивка, – откликается Коля Мокрецов.

– А когда будем публиковать? – возвращается Паша в реальность.

– Я обещал – не позднее субботы.

– Субботний номер уже давно заслан в типографию, вы же знаете.

– Снимите что-нибудь, не мне вас учить, вы – ответственный секретарь.

– А собственно, что за спешка? – вступает в разговор зам Усатый. – Она его вчера спасла?

– Нет, не вчера. Но какая разница? Я обещал...

– Так, может, это еще весной случилось? В ледоход?..

– Оставьте ваши шутки! Я пообещал...

– Что же нам теперь по швам трещать, ломать номера? Ну, пообещал, не разоб-

равшись, можно и объяснить людям, что это невозможно...

Редактор долго и нравоучительно рассказывает нам об оперативности и о долге журналиста, о беспокойной жизни газетчика, но я его уже не слушаю: мерещится ребенок в темной воде, жалкий крик; хочется сейчас же увидеть сына, обнять, почувствовать, как сладко он пахнет, какие теплые у него ручонки...

До меня долетают редакторские слова:

– Хорошо бы взяться за это женщине.

Ну, и конечно, поедет фотокорреспондент.

Я оглядываюсь: из женщин в наличии двое – Нина и я. Она сидит у стены, вытянувшись в струнку, под глазами черные круги. Опять, значит, голова болит, уж ей день достался в ее отделе писем – не то что мне. Я барыня, аристократка, а она – как городское бюро жалоб, чего только не услышишь! Того врач плохо принял, того в магазине обманули – это мелочи жизни. А вот когда брошенная жена придет или забытая детьми мать – тут не только что круги под глазами, тут и сама голова кругом пойдет.

Спасение утопающих – тоже по ее части, но Нине в постель надо, а не в поиски неизвестной героини. Значит, остаюсь я.

– Ну, мы с Колей и поедем, – говорю, чтобы поскорее кончить эту дурацкую ленту.

Коля у нас в редакции пять, всех приходится называть по фамилии, но если просто Коля – это фотокор.

Редактор любезно улыбается мне, а Паша вскидывает брови – мол, что так? Рвение прорезалось? В ответ я тоже вскидываю брови: а ты думал! А сама люблюсь редактором – ну, глядеть не наглядеться, да ехать надо.

– Я очень рад, – говорит он, – я и хотел, чтобы взялись за это вы, Александра Михайловна. У вас должно получиться очень тепло, очень душевно. К сожалению, я уже отпустил машину, придется вам добираться до героини самостоятельно. Адрес я вам дам.

– Вообще-то, – говорю я ему почти дружелюбно, – насколько я понимаю, вы – тоже газетчик, и неплохо бы вам тоже, хоть изредка, упражняться в написании теплых и оперативных материалов. Тем более что вы так часто что-то кому-то обещаете.

Редактор округляет глаза и смотрит. И почему я его так не люблю? Больше того, считаю совершенно лишним в нашей жизни. Он кажется мне опрятным лоскутком – никуда его не приткнуть, ни на что не

годится, ну, разве что залатать где-то прореху. Да его и прислали к нам, когда стряслась беда с Иваном Семеновичем. Вот был яркий, крупный человек – нужный всем. А чем кончилось? Сгорел да и всё, и место его прикрыли латкой.

Я сразу каменею, когда вспоминаю Ивана Семеновича. От боли и от стыда. Сразу чувствую, что мы будто предали то хорошее, что было в редакции раньше. Один и тот же город – что тогда, что сейчас; одна и та же лавина событий – что раньше, что теперь; одна и та же газета... Но почему при Иване Семеновиче жизнь в ней была полезной, а сейчас – одна тягостная суета? Нет, пожалуй, нынешний редактор не просто лишний в газете, он, скорее, вредный для нее.

– Ну да, да, конечно, – зашевелился редактор, приходя в себя, – я учту ваше замечание, Александра Михайловна. А то и правда – писать разучусь...

Мы остаемся с Колей в кабинете и берем адрес.

– Это где-то на том берегу, в Затоне, – утешает редактор.

– Да, брат, – говорит Коля, – пока доберемся до реки, будет темнотища, а дальше как? Там мостов нет.

– Ничего, за сотню-другую перевезут на лодке, – говорю я.

Я уже смирилась с тем, что прощай на сегодня и обед, и ужин. Опять Ромку увижу только спящим. Серега кругами будет ходить по кухне, чтоб обратить на себя внимание, пока я не скажу:

– Отстань, иди спать.

Опять, значит, сидеть до третьих петухов и писать материал в номер, хотя не известная мне пока что девушка, наверное, на этом бы не настаивала. Одно утешение – завтра абсолютно законно можно не пойти на ленту, и Газим не сделает на меня ставку.

Собираю вещи, кладу в мультифору черновики недописанной проблемной своей статьи – теперь уже просто обязана ее дописать!.. Просто обязана! Но всё это – на ночь.

Говорю Некто:

– Ну, пока! Не шали здесь.

Гашу свет, выхожу, гремя ключами, тщетно пытаюсь попасть в замочную скважину. Это же надо! Элементарно! Делали ремонт – и ни единой лампы на все коридоры. А коридоры в нашем особняке узкие, поворотистые, вот и шагаем по ним, держась за стенки и насакивая друг на дружку из-за угла.

– Зайцева, выходи-и! – зовет снизу Коля.

– Иду, – отвечаю ему.